

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

АВГУСТ

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

КРАСНОЕ КОЛЕСО
РОМАН-ЭПОПЕЯ



Александр Солженицын
Август Четырнадцатого

«WebKniga»

1971

Солженицын А. И.

Август Четырнадцатого / А. И. Солженицын — «WebKniga»,
1971

ISBN 978-5-9691-1272-8

100-летию со дня начала Первой мировой войны посвящается это издание книги, не потерявшей и сегодня своей грозной актуальности. «Август Четырнадцатого» – грандиозный зачин, первый из четырех Узлов одной из самых важных книг XX века, романа-эпопеи великого русского писателя Александра Солженицына «Красное Колесо». Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. Позади полувековое противостояние власти и общества, кровавые пароксизмы революции 1905—1906 года, метания и ошибки последнего русского императора Николая Второго, мужественная попытка премьер-министра Столыпина остановить революцию и провести насущно необходимые реформы, его трагическая гибель... С началом ненужной войны меркнет надежда на необходимый, единственно спасительный для страны покой. Страшным предвестьем будущих бед оказывается катастрофа, настигнувшая армию генерала Самсонова в Восточной Пруссии. Иногда читателю, восхищенному смелостью, умом, целеустремленностью, человеческим достоинством лучших русских людей – любимых героев Солженицына, кажется, что еще не все потеряно. Но нет – Красное Колесо уже покатило по России. Его неостановимое движение уже открылось антагонистам – «столыпинцу» полковнику Воротынцеву и будущему диктатору Ленину.

ISBN 978-5-9691-1272-8

© Солженицын А. И., 1971

© WebKniga, 1971

Содержание

Книга 1	7
1	7
2	14
3	19
4	24
5	30
6	34
7"	37
8	41
9	49
10	55
11	62
12	72
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Александр Исаевич Солженицын
Красное колесо
повествование в отмеренных сроках
Действие первое
Революция
Узел I
Август Четырнадцатого
10–21 августа ст. ст

© А. И. Солженицын, наследники, 2010

© Н. Д. Солженицына, составление, краткие пояснения, 2010

© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2010

© «Время», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

*Только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора... К
топору зовите Русь.
из письма в «Колокол», 1860*

Книга 1

1

Кавказский Хребет. – Саня Лаженицын едет на станцию. – Своё станичное. – Первые газеты. – Встреча с Варей. – Её зов. – Как они встречались раньше. – Впечатления Вари от первых дней войны. – Её отговоры.

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, – доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, – не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло. Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, – но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, – а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только – мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и сами они – но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной – не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекачивали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, – но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы – посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, – эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, – сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется – назад едешь?»

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывком, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю, и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение безповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, – и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала – с издёвкой же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его «народником». Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решения, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах – взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа – бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свобода простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядысь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь ошестьдесят, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, непонятно посты и праздники, босиком ко всенощной, – а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами – молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, – позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного – это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, – но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту *практику* придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что чис-

лилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, – да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий – студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, – и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обглотить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлопался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, – тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и належке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслей пыли.

Зато минераловодский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашенных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кислородских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары – и газеты. Саня купил одну, подумал – и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам – и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, – и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, – а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала – а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

– Саня!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё писали иногда. Раньше – заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:

– Я почему-то так и думала: а вдруг – вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была – дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был – и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

– А я вот четвёртые сутки всё еду! – радовалась она. – Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удолженный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

– А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались – неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите – поедemте в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. – Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя – а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдишь, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск – и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

– А – куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:

– Я... В Москву. – Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. – Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

– Но ведь до занятий ещё три недели! – Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. – Или, думаете, вас...? – затревожилась, потянула сильнее, – с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу – было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

– Да понимаете... Н-не сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

– Да вы... не... ли... до-бро-вольно?..

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные, умные разговоры, для Вари очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, – он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и дружеских собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объ-

ятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, – в тот смутный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари: повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагодзвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали ее в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, – жертвователь, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, через всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встретиться! Саня, встретиться!» – как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия – через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грянула война – ей стало одиноко, упущенно. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с кручением и гулом стала навсегда уходить вода озера – и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России – презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немыслимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб – и с этих тупых цилиндрических тумбленных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:

«Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей Империи, боремся за правое дело...»

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных пронёсился другой такой же поезд – взлетало братское «ура-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела – и кинулась

к нему, на свою загадку-угадку, но и – сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят – и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрерывная внутренняя работа. А уже – и заглатывающее заострение – общее – увидела на нём. *Уходил?* – добровольно?..

– Саня! Не идите! – за плечи его. – Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданской литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества – и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! – так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка – дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

– Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

– Кого? – Россию? – ужалилась Варя. – Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упреков несколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

– Да разве у вас характер – для войны? – подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, – но от этого только холод утраты сжимал её.

– А Толстой! – нашла она ещё, последнее. – Что сказал бы Лев Толстой – вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

– Россию жалко...

ДОКУМЕНТЫ – 1

23 июля

ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ – ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ

II

...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

ДОКУМЕНТЫ – 2

31 июля

Запись маршала Жоффра

...Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое

особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.

ДОКУМЕНТЫ – 3

1 августа

НИКОЛАЙ II – МИНИСТРУ САЗОНОВУ

...Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.

2

Неготовность души к войне. – Занывание. – Саня в поезде ночью. – История семьи Лаженицыных. – Степной восход. – Посещение Льва Толстого. – Запутался в изобилии истин. – Прощанье со степью. – Вид на кубанскую экономию.

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, – так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война – грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая – и в раздольной безтревожной степи, под небом безтучным – засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить – и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решился ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, – поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы – и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней – тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница – Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней – ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить – полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась – война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, – Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в

стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию – ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось – алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шири, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В *той* России – много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разлиvistых восходов на всю вселенную – не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, пять лет назад, Саня вышел со станции Козлова Засека – идти к Толстому. Было сочнее и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес – просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, – а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку – и оборвался. Саня понял свою ошибку: только перевалив через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продрасться сквозь заросль – и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сживает он.

Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей – не было видно. И в раннем солнечном

переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по берёзовой аллее – длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И – кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел – Седоволосого, Седобородого! в длинной рубаше с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет – и тогда голова его, в объёме парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью Саня вышагнул на дорожку – издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) – и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем:

– Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

– Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

– Откуда же вы, гимназист? – вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

– Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, – теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокашлялся, поспешил: – Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? – какая жизненная цель человека на земле?

Но – не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:

– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить *чем*? Любовью? Непременно – любовью?

– Конечно. Только любовью.

– Только? – Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался, и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом своё не совсем пустое мнение: – Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна

во всех, и не возьмёт верха – ведь тогда ваше учение окажется... без... – не мог договорить. – ...Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием – и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?.. – И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: – Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, – всеобщего взаимного доброжелательства *нет*, Лев Николаич, *нет*!

Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, безколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

– Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И – кажется, не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнью, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

– Что до меня – я так и хочу, через любовь! Я так – и буду. Я так и постараюсь жить – для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то *добро*! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол – да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.

– Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?..

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздыхнул старик глубоко:

– Значит – плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И – поймут. Все рождены – с разумом.

И, расстроенный, пошагал с палочкой.

А Саня – стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки – можно? хоть для себя, потихоньку? Или – решительно противоречит?.. Тайно всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёг заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?

Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество среди городских студентов. А в Харькове год поучась и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в Московский университет (и Котю с собой увлёт), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул «Вехи» – и задрожал: всё напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами – как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.

Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.

Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженные возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в безпечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

3

Ирина в ссоре с мужем. – Утверждаться на том, что есть. – Завтрак со свекровью. – Из быта семьи. – Дом и парк.

Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.

Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с тeneвым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решила Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя несколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенной обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.

И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезд в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её... Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе... А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него несколько не осталось, лишь скрывал для приличия.

Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ирининою покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.

Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждает на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.

Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и за границам – всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?..

Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)

Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксения спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей – только Ксению, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.

Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подавала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.

Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдись прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распорядилась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашескими. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заим-

ствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм, – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом, и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые раскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина, наоборот, убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:

– С Ромашей ночью – опять поврозь?

Ирина опустила прямоносимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:

– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано... Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.

– А так мы никогда и не дождёмся...

Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)

– Гордость надо нагибать, Ируша...

Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» – и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.

Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:

– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.

– А чем он плохой вырос?

Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед *кабинетом*, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукин ты сын!!» – кричал и топтал Захар Фёдорович, побагрев глазами. «Ты – сам!!» – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталия – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба двадцать десятин – было куда пойти: в прачечную; в погреба – осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?..

Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал *он*. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привыются: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.

«Шоб грёбши зароблять – нужен рёзум», – говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший рёзум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по-чумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли – размахнулся Захар Томчак: «Угостим графьёв? Да нэ як вони угощают, дрэбэдэнькой», – но чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь – Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Гарно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд – с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам – парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, – принялись. За садом – виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский райграс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к раннепасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юкки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом – выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего – назад в оранжерею.

В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежности и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищённее от мужниных обид.

Была такая фантастическая мысль у неё, что Роман, проснувшись, станет её всё-таки искать. Это невозможно было в обычное время, но когда война, не исключено расстаться, – может быть, его проберёт? Она хотела этого прихода не для того, чтоб одержать верх, но для него же больше, для его сердца.

4

***Пробуждение Ксеньи. – Брат у сейфа. – Где Ксенья учится. –
Танец. – В гамаке. С Ириной. – О нравах экономистов. –
Смешное или неподдельное? – Письмо от Ярика Харитонова.***

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! – и постели такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас ещё тёмной, а лучики бьют в жалюзи. И такой обеспеченной возможности поленишься – день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксенья сжала руки в кулачки над головой.

Правда, эта жизнь осудительная, в ней опускаешься, о ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое плохо и дико, – а всё равно хорошо! Что-то есть такое хорошее, что только тут, только ты и твои семейные понимают – а подружки и не могут понять. Московские радости, конечно, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, публичные лекции, да, ещё ж и курсы! – всё головокружительно, а тут с утра проснёшься – лежи, сколько хочешь. Побарствовать всё-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.

– Ксенья, ты не спишь?

– Ещё не решила, а что?

– Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь спать... я могу потом...

Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда тебя ждут – всё уже отравлено.

– Ладно! – крикнула Ксенья и вскочила в постели без рук, одним качком сильных ног. Путаясь в длинной сорочке и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок. – Подожди, не входи! – и опять в постель нырь, зашуршала сеткой, натянула одеяльце. – Можно!

Брат открыл, вошёл:

– Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень понадобилось, прости. Со света не вижу. Разреши, одну ставню открою?

Прошёл осторожно, всё-таки толкнул туалетный столик, зазвякали флакончики – и открыл наружную ставню. Открыл – и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу пережались Ксенья, что она не выпалась: выпалась! И перевалась на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких глазниц у него был режущий взгляд. А усы – как палки заострённые, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи от стенного сейфа, Роман шагнул отпираться.

– Я быстро, я сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.

Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вделали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет в одном кабинете с отцом на первом этаже, а тут – Ксенья, но кассу так и оставили, для отдельных бумаг и денег Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой – поджар, вёрток, в облегающем костюме английского спортивного типа, но недоставало ему роста. На нём было кэпи блекло-коричневое, в тон его костюму и штиблетам.

– Да ты не на автомобиле собираешься? – догадалась Ксения. – Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? Или на Кубань туда, за Штенгеля?

Круглой, позорно здоровой, неприлично смуглой мордашкой на подушке Ксения примеряла надежду и жертву: для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить на завтра? На краю экономии барона фон Штенгеля, превосходного соперника всех здешних экономистов, стояла столетняя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был у Романа не какой-нибудь, но белый «роллс-ройс», каких в России, говорили, только девять экземпляров. Роман, ученый англичанином, сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами гнутый, широкий козырёк кэпи.

– Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не сегодня. Пусть решится сперва...

– Ах, в самом деле!.. Ой, прости, Ромашечка!..

Как же можно всю память заспать, да просто всё на свете забыть с вечера до утра – даже что война идёт! вообще – что война идёт на свете!! А уж тем более – что отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать «роллс-ройс»! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие даже.

Хотя, если откровенно говорить, Ксения не понимала, как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если единственный кормилец, – так Роман какой же кормилец? Не обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует простая порядочность.

Однако он должен сам понимать, а сказать так брату Ксения бы не решилась при всей незатруднённости и дружелюбности между ними с тех пор, как Ксения выросла из ребёнка.

– А где Оря?

– Не знаю.

Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и пригнулся к ней головой и плечами.

– А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?

И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка повернул голову, показал край уса и косой оскал губы. Нос у него был как у отца – с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы Великий – ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислугу, всех работников спешат очистить до начала посева. На Великий пост Ксения всегда в отъезде, и Роман уезжает в столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Троица, как начинается совсем уже бессмысленный Петровский пост. И едва минует Петровский – заряжает Успенский. А чтоб до святок весёлых добраться, ещё надо с постной миной проходить Рождественский. А ещё ж на каждой неделе среда и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими деньгами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на свете, – и полжизни увечить себя постами? Совершенная дикость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они во всей семье имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенеги.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под щекой, Ксения размышляла вслух:

– Не знаю... Всё-таки последняя возможность мне бросить курсы – сейчас, в августе, пока год только один потерян. И – набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредоточиться, требовало остаться с кассой вдвоём, не дать видеть сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксения ничего бы и понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бумагами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

– Если б ты меня поддержал, – вздыхала Ксения, – я бы скакнула!

Роман возился, молчал.

– Я уверена, что папа ещё и три года не узнал бы. В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом – покричит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.

– Да даже и не простит – ну что делать?.. – так и этак играла губами Ксения, оценивая. – А жизнь губить – лучше? На что мне эта агрономия?.. Зарывать наклонности – преступление!..

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загоравшая открытую кассу туловищем, обернул голову:

– Никогда не простит. И вообще – говоришь вздор. Тебе полный расчёт, единственный резон кончать именно агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из-под чёрных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксения и головой замотала, и сгримасничала – Роман как не видел. В чём бывал он убеждён – то выговаривал неотклонимо, и с такой мрачной строгостью, что побаивались и мужчины деловые, не то что Ксения.

– Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во всяком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с отцом окончательно поссоримся – то и больше. А всё бросишь – и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты – не нищая девчёнка.

Но – девчёнка, но – ребёнок, доступный руководству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат говорил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксения слушала, хотя не убеждённая.

Опять повернулся в свою кассу. Если б он был человеком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти в танцевальную школу: только поддакнуть её напору да похвалить один-два танца. Если Ксения выйдет замуж и родит деду внука – старик, взъярённый на сына, может подписать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, чтобы Ксения пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но он не разрешил бы себе такого безчестного приёма, это противоречило бы избранному им английскому джентльменскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными ключами на полных два оборота каждую заперев, Роман ещё посмотрел на притихшую сестру, строго:

– И выйдешь замуж – за экономиста.

– Что-о-о? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!! – Ксения вскинулась как уколотая, сорвала ночную повязку с головы, белками арапки мелькнули весёлые глаза. И – захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смешно, смешно! У экономистов та женщина красавица, какая на двух стульях помещается. – Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл – толчком вскочила! ставню второго окна – распахнула! – а день! а солнце! а жизнь! – и на пол прыг! и к туалетному столику, из серого гнutoго дерева (весь гарнитур такой, к окончанию гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй, – никак не берёт всей фигуры, – а только во всей фигуре вместе – только в сильных! не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими ступнями! – красота Ксении!!

Прыжок! Прыжок! Прыжок!

И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком простоватое лицо – хохлушки, степнячки, «печенежки», как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень её задевало. Хотя волосы не тёмные, и при карих глазах это – *интересно*. И с годами всё-таки выражение тоньше – гораздо тоньше – и интеллигентней – и задумчивей. Но всё равно, ненормально здоровый вид, совсем нет бледности, надо выработать бледность... Круглолицесть неумная, деревенская, безнадёжно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж крепкие, только без-на-дёжнее выявляют его! Разве можно выразить этим лицом – как ты уже образована? как ты стала тонко-тонко-тонко чувствовать красоту? Разве по этому лицу догадаться – на каких спектаклях ты бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток расставлено – и здесь, и в московской комнате? И Леонид Андреев! и несколько Гельцер! и несколько Айседор! И сама Ксения – то в венгерской шнуровке и в сапожках со шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, босиком! – вся в полёте, подхвачено пальцами платье! – первая танцовщица харитоновской гимназии! – а может быть первая из ростовских гимназисток?!.. Как устоять?.. Чем ещё можно жить? Что ещё в жизни есть? – кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, недлин-

ные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама говорит отдельно, она очень важна!

Умываться – не надо! Есть – не надо! Пить – не надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь – на балкон! А с балкона – в зал! Тут старая глупая плюшевая мебель, старикам выкинуть жалко. Вот где зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая – прыжок! Прыжок! Как это у неё получается! Она – как птица! Ступня удивительно маленькая, её всю можно забрать в мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это – школа босоножек: всей ступнёй, на носках они не ходят. Восстановить Элладу! Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной. Или станцевать – молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! И у неё ещё всё впереди, впереди!

...А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом. А другая несла барышне нагретое на солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак – а степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше всего – в гамак, посреди сада, и – вся в белом, так легче.

Просвечивало белеющее небо, обезсиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им, достигало сюда попыхивание локомотивов с молотьбы, машинное гуденье с делового двора да общее слитное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксения изогнулась – это Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности движений. Ксения протянула обе руки, как бы впопыхах, а – чтоб обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась. Ксения книга сама закрылась и сползла, упёрлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно:

– Опять французская?

Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксения просительно сморщила носик:

– Ну, Оренька, ну неужели же мне – житие Серафима Саровского?..

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой. А смотрела – скорей благожелательно-насмешливо:

– Нет, но в твоём чтении я совсем не замечаю русского.

– А – кого? – с проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксения. – Тургеневы все перечитаны, надоело сто раз. От Достоевского меня дёргает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем, Пшибышевского, Лагерлёф – это тебя не беспокоит!

В этой семье Ирина застала Ксению застенчивой одиннадцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. Та Ксения была воспитана в Боге и не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стоянии, в преданности русской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:

– Отходишь ты...

– От чего? от хохлацкого? – выхватывали живенькие каренские глазки. – Истинно хотела бы отстать, но – как? От этих женихов *экономических* дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт! Мордоренко Евстигней!.. – Только вспомнив, она уже душилась от смеха. – Как он плакал, что его угонят в Париж?!..

Переняла и Оря, на её многозначительно-строгом лице нос-то был расплюсчен к концу, проявляя склонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У неё и малая улыбка значила, сколько ксенин хохот нарастает.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чём-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказание велел ему

вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое суток, размазывая слезы, и просил не гнать его в Париж.

– Или как они на здешних балах женщин качают! – тряслась Ксения.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жён и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развеались, и норовя за ляжку схватить. (Надменно держась среди экономистов, Роман с таких *балов* Ирину уводил, чем обижал всех очень.)

– Вообще – судьба! На визитной карточке, представляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут.

– Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов...

– Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенег с десятью мельницами, фотографировалась бы как каменная баба позади мужниного стула...

– А тем не менее, – вговаривала Ирина с тихой настойчивостью, – народные основы...

– *Здесь* – народные основы? Печенежские?!

– Вот здешнее всё, – упрямо вела Ирина, с челом прихмуренным, и напряжена была её изгибистая высокая шея с голубыми прожилками, – гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещённые Харитоновы, равнодушные к России.

Ксения загорячилась, заёрзала в гамаке, упёрлась в тугие ромбы:

– Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные категорические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не видела – почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики – чем тебе их семья не угодила?

От резких поворотов Ксении через ячейку гамака провалилась книжка.

Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос:

– Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России...

– Но Харитоновых – не смей! не трогай! – уже раздражилась Ксения.

Ну, не так повела, Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но:

– Мне горько, Сенечка, что тебе всё здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь, самая твердь под почвой. Тут – и хлеб родится, не в Петербурге. Тебе – и посты лишние. А в постах – люди вырастают.

– Ну ла-адно, – жалобно просила Ксения. И спорить было лень, а что-то и правильно.

– Я только хотела сказать, – как можно уступчивее вывела Ирина, – что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами – смешно. В пятницу было затмение солнечное – смешно.

А уж Ксения вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на листовенно-солнечный потолок:

– Ну, правда же... Есть астрономия...

– Да астрономия пусть как угодно, – стояла Оря спокойно на своём. – А вот шёл князь Игорь в поход – солнечное затмение. В Куликовскую битву – солнечное затмение. В разгар Северной войны – солнечное затмение. Как военное испытание России – так солнечное затмение.

Она – загадочное любила в жизни.

Ксения наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт.

– Да! Я ж тебе не сказала! – от Ярика Харитонова письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день войны! Письмо – уже из Действующей армии! А пока дошло до нас – он бьётся где-нибудь! И – радостное письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! – с нежностью, гордостью думала Ксения о нём.

– Откуда же штемпель?

– Штемпель – Остроленка, надо у Ромаши по карте...

Прямые орины брови сдвинулись – смущённо и одобрительно:

– Из такой семьи – и патриот, офицер! Вот в этом я вижу *знак*.

...А – её муж?.. А с мужем ей что?..

5

***Ростовские дела Захара Томчака. – Какая гимназия наилучшая? –
Беседа с Аглаидой Федосеевной. – Пристроил жизнь у
начальницы. – Успехи Ксеньи. – Одно забыл спросить Томчак.***

В скажённом этом городе Ростове привык Захар Фёдорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомотивами. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу – где ж как не в Ростове рыба! – и другое из харчей и вещей. А кодась-то пойихал только купить перчатки, какие хотел, – чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось, – да уговорили чертогоны: на придаток купил ещё и автомобиль «русско-балтийскую карету» за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за «томаса», твёрдо считал, что от той зверяки, как она вокруг поля объехала, – и гроза ударила, и хлеб полёг. А вот и сам подыскивал шофёра, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Фёдорович справлял гладко, и нравилось ему, как швыдко все ростовские крутятся при делах, – а вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксенью из пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкою повёз он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его околпачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека – Архангородского Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить его: якá гимназия наилучшая, куды дочку отдать? И Архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казённая Екатерининская и ещё другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его дочь уже учится, Соня, в четвёртом классе. Сравнили возрастá – той и той тринадцать, так вместе и сядут, гáрно.

Сразу и подружка, понравилось Захару Фёдоровичу. А что гимназия частная, не казённая, так особенно хорошо: только те дела и надёжны, где сам хозяин во главе, а где казна да казённые служащие – там добра не жди николы.

Когда ездил Захар Фёдорович в Ростов, надевал он костюмы, по времени года шерстяные или чесучовые, надевал и шляпу фетровую, или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскорее и так шагал и руками махал, как у себя в стэпу, соскочив с дрожек в чумацком плаще и смазных сапогах. А ещё, как раз перед тем, надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. Но только грбши гынулы задармá: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, и в банках, и на бирже, никто тех теребенек другу другу не совал, и вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только

когда била Старого собора Томчак подъехал к гимназии Харитоновой – разменял он ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьёзной женщине вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуетя, хоть по полгода её не видь.

А что сам он может начальнице не понравиться – у Захара Фёдоровича и минуты в голове не было. Все Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в гостях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого общества не было и такой женщины не было, которым бы Захар Фёдорович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте, – своей, однако, открытостью, юмором, но и патриархальным достоинством, а больше всего степным ветряным напором, от которого еле бумаги не срывались со стола и календарь сам переворачивался, – ошеломил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти действовать сейчас же, выскочив из кресла. Томчак и разговаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохотал, – но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только не покорило, но увлекло свежестью. И даже явная его прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швейцара, – даже наивное лукавство это умилило её. И хотя четвёртый класс у Харитоновой был укомплектован, никого больше она не собиралась принимать, да ещё какую-то дикую девочку, конечно недоученную, – но за десять минут она согласилась принять, и не только не указала, как умела насупленно, что ждут её другие занятия, а поддалась простодушию весёлого хохла, стала о нём самом расспрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шутки, уверенный, что тут только и ждали его послушать, Захар Томчак рассказал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему прихожему рабочему, не говоря о постоянных своих мастерах; что только через десять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят – и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, трудами и боками. Спросила начальница про его образование – полтора класса церковноприходской, как раз научился, сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, по-русски, алэ и по-славянски, а писать – плохо совсем, а ни при одной купле его не обманешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание ему Бог послал: в неделю шестеро диток вымерло, уся середина потомства. Стали слезы у него, вытер платком. И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион штук, ещё и продадут, ма́буть останется; как новый дом плановал с архитектором сам, окнá нет без жалюзей снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочём; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них уже стоит, теперь садбвлят парк, а по нему расставят фонари, – да просто зовёт он начальницу на следующее лето приезжать с детишками гостевать.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что она овдовела недавно, был её муж – инспектор казённых гимназий; что детей у неё трое: дочь кончила только что гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию бросать да в пустоголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение – двести рублей в год, в пять раз больше казённой, потому что... – Томчак едва не обиделся: «Скикы платыть – я и сам знаю. У вас быкив нэма,

пидсбнухив на масло нэ жмэтэ и квасоль нэ ростэ – на шо-то надо дитэй содэржуваты». Спросила, где девочка будет жить, – Томчак тут-то и взжалился: «Та нэма ей дэ диться, дытыни бидной! У таком городе кружёном як йийи без глазу оставлять? А чы, може, у вас бы и жила?» (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут и прихотни тачал, и кохвий пил, и на кумыс приглашал, хоть его другие дела пекли, волокли.) «Как вы это понимаете?» – чего угодно ожидала Харитонова, не этого только. «Та шо ж у вас – комнат нэбогацько? Вот старша, кажетэ, закинчыла, до Москвы пойдэ, – замисто йийи мою и визьмить. Та вы мэни хочь усих трэх своих давайтэ, я йим зараз мисце найду!»

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего разговора, дружелюбия и смеха уже невозможно было вернуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вразумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, ученица не может жить у начальницы на квартире, она свою собственную дочь учила не у себя, а в казённой, чтоб не было и тени благоприятствования, – ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да пытался её растрогать: «А тоді куды ж мэни йийи? Чужим людям нэ оставлю. Назад, та за овцами ходыть. А дивчына шибко розумна». – «А я вам кто? не чужой человек?» – «Вы? – ни! вы – своя людына, зовсим своя!» – так уверенно, радостно наседали хохол, что начальница и понять не успела, в чём же они с этим дикарём такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, и что дочка тоже понравится, алэ не надо напирать сразу. И свёл на шутку, об одном только просил: нельзя ли девочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает, по конторам ездит, ещё и в Мариуполь ему, а на кого дочку в гостинице оставишь? А вернётся – и найдёт ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя уговорить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но видал, как делают) и порывом ушёл. Ещё прежде, чем он привёз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платьице с поясом-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть, – к другому подъезду (квартира начальницы была в здании гимназии) подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки. Не могли же не к делу быть лишние грóши хоть бы и этой образованной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить людям вперёд и по совести – не подкуп, не покупка, не мог бы Томчак объяснить, а про себя понимал: щедро платить за всякое дело создаёт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксенья проявила себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навыкам и к урокам, это быстро замечает опытный глаз. Комната дочери пустовала, мальчиков можно было и не расселять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хорошо: при двух сыновьях пусть в доме растёт девочка, это будет влиять на них. Только вот молится ребёнок избыточно: и утром, и вечером подолгу, на коленях. Но тем заманчивей взять девочку из тёмной семьи и переделать на девушку передового толка. Условия поставила: Ксенья будет ездить домой лишь на каникулы, а в году отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Фёдоровичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, чего ж для девочки ещё?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не прослыть меж одноклассниц фискалкой. Впрочем, от этой опасности её оберегла и начальница: дорожа либеральным духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопроса за годы не задала она и Ксенье. Она и её покойный муж считали главной задачей воспитания юношества – воспитание *гражданина*, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксеньи и её усидчивость превзошли догадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и квартирой занимали у девочки одну минуту, не час в день, как у всех, и этот час тоже шёл на занятия. Сам процесс занятий завлекал её выше гимназических наград. Ниже пяти с минусом у неё не бывало выводной отметки ни по какому предмету, а

особенно расцвела она в иностранных языках, из которых ни одного не знала, придя: в гимназии Харитоновой было два обязательных, Ксения, кончая с золотой медалью, уже свободно читала на трёх. (И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие.)

Больше языков – больше и книг. Детскими и недетскими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Харитоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала Ксения у Ори, – ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. Когда издано было толщиной и бумагою, как Библия, – так не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четырёх гимназических лет мир прежней ксеньиной жизни разжижался ей как дикий тёмный угол. Да каким позором была одна развязность отца – предложить начальнице взять дочь на постой! Приезжая домой на каникулы, Ксения в ужас приходила от густоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она с собой Соню Архангородскую и её глазами ещё острее увидела всю эту первобытность, и сгорела от стыда. Не подвернись агрономических, она на любые всякие другие курсы бы уехала, чтобы только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всей семьёй, когда нельзя уж не поехать, – а стояла рассеянно, крестилась неловко.

И спохватился Томчак, что одну только малость забыл тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией – верует ли в Бога она?

ДОКУМЕНТЫ – 4

11 августа

**ФРАНЦУЗСКОЕ М.И.Д. – ПОСЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ
ПАЛЕОЛОГУ**

...настаивайте на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите русское правительство неотложно...

6

Роман Томчак в одиночестве. – Его путешествия. – Политические грёзы. – Как отдавал деньги террористам.

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине хоть и неделю: лишь бы всё было ему вовремя подано, а интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал обед себе на одного – сюда, на веранду, пока солнце ещё не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыбные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам высылался с проводником пассажирского поезда то бочонок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил проводнику за безпокойство.) Был смысл пообедать со вкусом и без поправок – одному, пока старик не вернулся. Вернуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Но – в ссоре они, и Роман не может заискивать, встречать его на станции.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, шофёр Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в числе других важных работников при удаче мог быть отхлопотан *учётным*.

Роман-то был *единственный кормилец*, один сын в семье, и никак не мог бы подлежать призыву. Но слухи потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кормильцем не является, в манифесте об ополченцах три дня назад было неясно сказано о *пропущенных* прежними призывами, – отец и поспешил к воинскому начальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остеклённой веранде второго этажа, при спальне, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного гарнитура: с плавногнутым подъёмом изголовья, так что не лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь, и без подушек, можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, рассматривать на стене карту военных действий.

Из ростовского магазина по телеграфному запросу прислали Роману набор флажков воюющих государств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии льгот – и весь дымок очарования и интереса как сдуло с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии границ, кружки городов, чужие названия.

Роман поджёг золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествие медового месяца, за границей, Ирина подарила мужу золотой портсигар – удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асмоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлинённого же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, постарался заняться расчётами. Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил. Однако цифровая хватка была у него хороша. И к хозяйствованию большие способности, но обидно быть подручным при напористом отце, не терпящем перебору и тоже сметливом редком удачнике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцовском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на рысаках, в «Элите» на Петровских линиях брать отделение «люкс», перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд

партера... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: «ля шэз!» А переходя в следующий зал, показать: «Теперь – туда ля шэз, туда!» – потому что долго ещё будет жена разные черепки смотреть, уже курить хочется, и даже обедать.

Но и – хороша же Ирина! Когда наденет эспри и движется не наклоняясь, как статуя богини, только качаются пёрышки райской птицы воздушно. С ней и при Дворе не стыдно появиться. Самому б на вершок повыше. Да если б волосы так не выпадали, а то приходится стричься под машинку.

Нет, занятия не шли. Тянуло: с чем отец вернётся? Стал Роман расхаживать по веранде. И – думать, куря.

Больше всего он и любил себя в таких думаньях. Он разворачивал в них все свои способности – даже и государственные, ещё тайные ото всех. Чем он наверняка превосходил многих депутатов Думы – это своей резкой прямоотой с людьми. Сколько было вокруг самых диких и распущенных экономистов – все уважали Романа Захаровича, может быть не любили, но робели. Он никогда никому не только не льстил, но вершка не уступал из вежливости, но улыбки не дарил из гостеприимства, а всегда разговаривал с гордой серьёзностью, не сводя с собеседника режущего взгляда. Да вообще, он минуты не разговаривал с человеком неинтересным или ненужным: даже если тот был гость – Роман Захарович открыто вставал и уходил к себе. Именно таких непреклонных людей не хватало сейчас в государственном управлении, а на самом вершине – особенно.

Роман расхаживал всё твёрже и решительней. В одном конце его проходки висела на верандном переплёте фотография Максима Горького. Роман с симпатией смотрел на вызывающе вскиннутое плющеноносое лицо знаменитого писателя. Роман везде громко хвалил его книги и пьесы. Он находил в нём свою черту: не лебезить перед теми, кто к тебе благосклонен. Романа восхищала та дерзость, с которой Горький полосовал и жёлчью поливал тузов промышленности и торговли, – они же в восторге аплодировали пряному, острому, свежему.

А за парком – две тысячи десятин кубанского чернозёма, если их наследовать. И такую прочную, богатую, обещающую жизнь, такую умную, светлую голову – одна повестка воинского начальника может сорвать в грязный окоп под власть фельдфебеля!.. Вот дикость!

От Кубани не было ещё ни одного настоящего деятеля в России, Кубань никем не прославлена. Роман представлял разные виды своего выдвижения, одно интереснее другого. Да он, по сути, был бы смелее кадетов! Но левее кадетов кто ж – социалисты? Вот и Горький – социалист.

Да можно было бы подумать и о социализме, если б это не было так связано с грабежом, с отнятием законного имущества. Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа – от Девятьсот Шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! – с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять – не унижительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим ромам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать! А весь их труд был – писарским почерком с завитушками написать и разослать всем экономистам письма: «Уважаемый Захар Фёдорович! С вас причитается сорок (с кого – и пятьдесят!) тысяч пожертвования на революционную работу, иначе вам наступит немедленная смерть. Анархисты-коммунисты». И первых отказавшихся – для подтверждения действительно убили, всю семью.

Что было делать? Революция, все напуганы, власти в себе не уверены. А настроение образованного общества: на революцию? вы обязаны! ваш долг святой перед ограбленным народом. (Да если б на законную революцию, сбросить ненавистного царя, – так сколько бы-то можно и

дать.) Экономии разобщены, стоят в степи без охраны... (С тех пор Томчаки и стали держать четырёх наёмных казаков.) И пришлось ехать, на тачанке, попроще оделись, втроём: Роман, управляющий и конторщик. Отец не поехал – отец не мог бы своими руками деньги отдать, у него бы сердце разорвалось от первой тысячи.

Поехали за дальнюю гледичевую посадку. Была осень, хорошо запомнились под колёсами широкие лиловые опавшие стручки. А те приехали – из Армавира? – на фаэтоне, одетые не только не просто, но богато, один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпеливо. И – трое на трое, можно бы кинуться на них, избить, застрелить, ещё в засаду людей подсадить. И был револьвер в заднем кармане. Но не было решимости. Но вся Россия считала правоту – почему-то за ними, грозными, славными... Всё же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, упёрся, торговался – и две с половиной выторговал у них, те ещё понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец очень похвалил за две с половиной тысячи.) И раскланялись превежливо, и уехали. И так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли строили на те деньги? винтовки ли покупали? или просто три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить с проститутками?..

Ещё долго, долго было до вечерних поездов. А занятий только – читать да старое перечитывать, газеты.

Богатичи – что голубые кони: редко удаются

7"

(вскользь по газетам)

ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лецитала... Стимулол от **МУЖСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ...**

Кокосовые гамаки для дам...

Лондонские духи клик-клик, эсс-букет...

...этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещённый Запад...

На встречу **ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ** 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе «Русь», исключительно для фешенебельной публики.

...безразличие французской демократии к внешней безопасности страны... торжество антипатриотических партий во французском парламенте...

ПОКУШЕНИЕ НА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА... На все расспросы отвечала: «Он – антихрист»... Оказалась крестьянкой Симбирской губ. Хионией Кузьминичной Гусевой... Жизнь Распутина вне опасности...

ЗАЧЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫМ? *Идеальный анатомический пояс против ожирения... Незаменим элегантным мужчинам.*

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО СОЮЗА... Пребывание господина Пуанкаре... Парадный обед... Направо от Ея Императорского Величества... По левую руку Государя...

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ пребывания французских гостей... На предложенный вопрос, основательна ли тревога европейского общественного мнения... событиями на Балканах... Вивиани ответил: «Несомненно преувеличена».

...«Times» отмечает, что превосходство русской армии над германской значительнее, нежели...

ДЯДЯ КОСТЯ – папиросы 10 шт. 6 коп., верх изящества и вкуса!

НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ настойка ШУСТОВА!

КРАСАВИЦЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ! *Снимки парижского жанра, новейшие оригиналы С НАТУРЫ!* *Высылаю в НАГЛУХО ЗАКРЫТОЙ посылке.*

...миролюбие России хорошо известно... Но Россия сознаёт свои исторические обязанности и поэтому...

...ввиду непрекращающейся забастовки, промышленники Выборгского района... закрыть фабрики и заводы на две недели...

Сегодня БЕГА

РЕСТОРАН «ЯР»

МИР ИЛИ ВОЙНА? Утром всюду говорили «мир»... Несчастливая Сербия... Мирлюбивая Россия... Австрия предъявила самые унижительные требования... Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, защитницу неприкосновенного права миллионов на труд и на жизнь...

...вместо угнетающей подавленности – прилив бодрости и веры в свои силы. Такова психологическая черта всех здоровых народов.

...Народ-исполин, которого не сломили величайшие испытания, не боится кровавой тяжбы, откуда б она ни грозила.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил перевести армию и флот на военное положение. Первым днём мобилизации назначено 18 июля 1914 г.

А на Севере туманном
Слышно гром пророкотал:
То с крестом, в доспехе бранном
Старший брат славянства встал.

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛ НОТУ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ

Бодрое настроение в Петербурге и Москве... Запрещение торговли спиртными напитками в обеих столицах.

НА НАПАДАЮЩЕГО – БОГ!

...У Зимнего дворца – сотысячная масса на коленях со склонёнными национальными флагами...

...Вставай же, великий русский народ!.. за светлое будущее всего человечества... Свет миру с Востока теперь или никогда...

ВЗДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ. За последние дни в Петербурге цена на мясо... с 23 до 35 копеек... В Киеве толпа из бедняков учинила суд над торговцами, самовольно повышающими...

О приостановлении размена государственных кредитных билетов на золотую монету... Посещая сегодня столичные банки... с удовольствием констатировать... В экономическом отношении война не так страшна для России, как для Германии... Забастовочное движение сразу прекратилось...

НА НАПАДАЮЩЕГО – БОГ!

...Германию мы вывели из позора в 1812—13 годах, Австрию – в 1848...

Портреты наших врагов: Его апостольское величество император Австрии, король Венгрии Франц-Иосиф I...

ТРИУМФАЛЬНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 26 июля... Представителей разных национальностей и партий в этот исторический день волновала одна мысль, одно великое чувство трепетно звучало во всех голосах... руки прочь от Святой Руси!.. Мы готовы на все жертвы для охранения чести и достоинства нераздельного государства Российского... – Литовский народ... идёт на эту войну как на священную... – В защиту нашей родины мы, евреи, выступаем... по чувству глубокой привязанности... – Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали её своей матерью... и как один человек готовы сложить свои головы... – Мы, поляки... – Мы, латыши и эстонцы... – Позвольте мне как избраннику татарского, чувашского и черемисского населения заявить... все как один человек... бороться против нашествия... сложить свои головы... – Вся Родина сплотилась вокруг своего Царя в чувстве любви... В полном единении с нашим Самодержцем... – Все мысли, все чувства, все порывы... «Бог, Царь и народ!» – и победа обеспечена...

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ... Европейская война не может быть продолжительной... Из опыта предыдущих войн... решительные события происходили не позже двух месяцев...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ВСЯКАЯ ДАМА может иметь **ИДЕАЛЬНЫЙ БЮСТ**, украшение женщины! *Принимайте пилюли Марбор! Строго солидно. Без разочарований.*

ГИТАРА, заочные уроки, бесплатно. Тюмень, Афромееву...

ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА... Сообщение Генерального Штаба... Русские отряды вторглись в Пруссию... Наши лихие кавалерийские части...

...созидательные цели войны...

Нижегородская ярмарка, 1 августа... Закрыты все пивные и винные лавки вот уже две недели, и ярмарка приобрела необычайный вид. На улицах не видно пьяных, нет обычного обирания загулявших купцов... почти не стало карманных краж...

УХОДЯЩИМ

Идите, милые! Без страха и тоски
По здесь покинутым свою примите чашу...

Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов... – Да воссоединится польский народ под скипетром Русского Царя...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

...Никогда русско-польские отношения не достигали такой моральной чистоты и ясности...

Чехи! Настал двенадцатый час!.. трёхсотлетняя мечта о свободной независимой Чехии – теперь или никогда!

ПРАВА ЕВРЕЕВ... Циркулярное телеграфное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам приостановить акты массового или частичного выселения евреев...

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГИБЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. Вильгельм II, в бытность свою студентом боннского университета, однажды обратился к одной цыганке с вопросом... Цыганка ответила безстрастным голосом: «Злой вихрь налетит на Германию и разметёт»...

В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ... Страна Шиллера и Гёте, Канта и Гегеля... под кулаком железного канцлера, которому они везде понаставили памятников... Никто не прольёт слез над развалинами страны лжи и насилия...

ВОЕННАЯ ЦЕНзуРА. В 7 часов вечера 3 сего августа в Санкт-Петербурге вводится военная цензура.

...осведомление населения в пределах возможности возложено на Главное Управление Генерального Штаба. Общество должно мириться со скудостью сообщаемых сведений, находя удовлетворение в том, что такая жертва вызывается военной необходимостью...

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ... Речь Государя в Большом Кремлёвском дворце... Их императорские Величества выходят из часовни Иверской Божьей Матери... Десятки тысяч верноподданных манифестируют на Красной площади...

...Примчались сербы, нам родные,
Был пышен быстрый съезд Двора,
И проходили запасные
Под клики дружного «ура».
Из храма доносилось пенье.
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моление,
К народу тихо вышел Царь.

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

ПОДВИГ ДОНСКОГО КАЗАКА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА... Заметил 22 всадника... С гиком безстрашно бросился... врезался... вертясь волчком, рубился... Подоспели товарищи... первым в эту войну Георгиевским крестом...

...ввиду прекращения экспорта... небывалое понижение цен на зерновой хлеб... Хлебо-торговцы переживают крайне тяжёлое время...

Письмо прапорщика... «Сегодня привели 9 австрийских шпионов... По их словам состав армии плохой»...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. Центральным событием дня является наше наступление в пределы Восточной Пруссии на широком фронте... Лесов имеется много, но они разбиты просеками... не представляют препятствия для продвижения кавалерии и пехоты... 7 августа пришло известие о занятии нами Гумбинена... Это отдаёт в нашу власть всю Восточную Пруссию... Разбитые германские корпуса лишились способности...

8

Купец Саратовкин. – Облегчение у одра. – Чаша родины. – Летний Пятигорск. – Ларёк жестящика. – Эманации анархизма. – Заслужить доверие! – Чёрный колодец.

Её ввели и подтолкнули старшими женскими руками – как в полную темноту, в спальню, где он лежал.

Совсем темно не было, но обычное затмение глаз, когда из яркого южного полдня войдёшь в заставленную комнату.

Пахло ладаном, сухой травой, лекарством.

Сразу вскоре видны лучи от щелей, в них – пляшущие пылинки, потом от этих лучевых пылинок расходится для глаз и по комнате всей – смутная видимость. Потом и чётче, и почти уже полная.

Он лежал в междустенке на высокой кровати, высоких подушках, покрытый одной простыней по духоте, – а как будто уже саваном, только не до верха.

Варя подошла сколько-то, за сколько-то остановилась. Говорить она совершенно не знала что, за всю дорогу от Петербурга не выдумала, боялась сфальшивить, что ни произнеси. Но отчасти эта темнота помогла ей, в темноте легче было и молчать, и осво-иться.

А он-то, наверно, хорошо видел её. Но и головой не повёл. А после нескольких дыханий спросил, громче шёпота:

– Кто это?

Ответила:

– Матвеева. Варя.

– Мат-ве-ева?? – его беззвучный голос передал, однако, удивление – и ласковость. – Матвеева? – Далеко отстояло слово от слова. – Да ведь ты ж. В Петербурге.

– Приехала. Узнала – и приехала.

Что война началась – ему нельзя было говорить, не говорили. Что приехала из-за него, пусть понуждаемая разными дамами, – была почти правда. А высказалось – неловко. Благодарить благодетеля?.. И само благодетельство вообще стыдно, и благодарить – фальшиво: благодетельство есть откуп от общественного долга, так говорят. А всё же перед собой и перед этими дамами не могла Варя не признать, что ни гимназии бы не кончила, ни на высших курсах бы не училась без Ивана Сергеевича Саратовкина.

За минуты молчания и в нём что-то прошло, прошло. И он сказал уже голосней и со всё более отчётливой ласковостью:

– Спасибо, Варюша. Не ждал. Мне приятно.

Когда-то маленькую девочку может быть погладил по головке. Ей и не запомнилось, чтоб он говорил с нею особо или ласково. Да они и не встречались никогда. На петербургской улице она бы мимо него прошла, не узнала.

А сейчас этот голос – тронул её. И первый раз ей показалось, что она ехала так далеко – не зря. Хотя всю дорогу была уверена, что – зря, смешно и глупо.

Среди образованных курсисток, её подруг, стыдно было бы признаться, что она ездила к одру благодетеля, да кого? – владельца бакалейно-гастрономического магазина, – как ни назови его, купец или лабазник, всё равно чёрная сотня. (Хотя и у Гоца дед был чаеоторговец – но сотни тысяч жертвовал на революцию!)

Магазин Саратовкина на тихой Старопочтовой, на отлёте от движения, без зеркальных витрин, не такой большой и даже полутёмный, однако известен был всему Пятигорску, и Ессентукам, и Железноводску: что нет никакой такой в мире еды – всякой марки заграничного вина, швейцарского шоколада, вологодского масла или нежинских огурчиков, чтоб они не нашлись у Саратовкина. Его приказчики считали позором ответ «у нас нету-с». И даже непонятно, какую выгоду Саратовкин преследовал не в бой-кости повседневного спроса, а в том, что на всякое шалое желание у него не бывает «нету». Скорее – гордость.

Варя приехала не зря? – однако что же было говорить дальше? Как она поняла, Иван Сергеевич уже неизлечим, и даже в днях её торопили, чтоб она поспела. Но теперь высказывать ему несбыточные пожелания здоровья было неискренне, а признать смерть – тоже нельзя. А говорить о постороннем – и совсем неестественно.

И Варя, ни шагу дальше, от натянутости переминалась, выжидая, сколько прилично надо простоять, чтобы можно уйти. И обеими руками держала сумочку перед собой, чтобы только занять их.

Уже гораздо ясней стало в комнате, и на подушке виделась круглая голова Ивана Сергеевича, редковатые волосы, всё ещё полное лицо – и большие, устало свисшие усы, как мокрые кисти.

А всё остальное – под саваном.

Не от сознания близкой смерти его, а вот от этого савана, до подбородка натянутого, её как сознобило.

А он, напротив, так покойно лежал, будто нисколько не боялся и не ему грозило.

– Пошли тебе Бог, Варюша, – с той же ласковостью сказал Иван Сергеевич, как будто она была не одна из двух десятков, ему не памятных, а его любимая дочь. – Чтоб ученье. Пошло на благо. И тебе. И людям. Свет ученья, он знаешь. Двулезый.

Последнего странного слова она не поняла. Да и не так старалась понять, а старалась выстоять прилично свои десять минут, и облегченье было, что не ей говорить, а он сам. Но его тон – очень раздобрал сердце.

– И жениха хорошего, – размышлял он, кажется и без труда. – Или есть уже?

– Не-е-ет, – простоналось у Вари.

И тут почувствовала к нему безподдельную благодарность, что самого главного он не забыл и самого больного так коснулся мягко.

Он, правда, был хороший старик, хотя и купец. И кто-то же должен быть купцом. И кто-то же должен один взяться, чтобы город их не был хуже столицы.

А – после него?

– Всё – будет. Всё – будет, – то ли успокаивал старик. То ли успокаивался.

Замолчал.

Забыл?

И Варя молчала. Она даже хотела что-нибудь сказать, но совсем не могла придумать, как если б ей было четыре года.

И пока она стояла, ещё переминаясь и вцепясь в сумочку, она подумала искренно, не формально, что ведь когда-нибудь и она будет старой и вот так же плашмя и беспомощно будет умирать.

А Иван Сергеевич с одра смерти как будто ей помогал на тот миг.

И ещё сказал:

– Спасибо. Что посетила. Спаси Бог.

Правда, как-то хорошо получилось, неожиданно. Не так непролазно мучительно, ничемно, как ей представлялось в пути.

Из тёмной комнаты его она вышла растроганной.

Вышла наружу – а там дрожащий знойный воздух. И много виделся раскинутый Пятигорск.

Трёхэтажный дом Саратовкина стоял на углу Лермонтовской и Дворянской. Тут поворачивали открытые маленькие трамвайчики, идущие на Провал, несмотря на войну и сегодня полные курортной публикой. Они взползали выше, выше по подножью Машука, мимо богатых белых дач, вилл, пансионатов – и туда, к Эоловой арфе, к Лермонтовскому гроту. А в другую сторону, к базару, Лермонтовская круто спускалась, сразу падали крыши в зелень. На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор.

И – так горячо стало от этого обзорного родного вида. Пятигорск! Зачем она отсюда уехала в чужой неприветливый Петербург? Тогда казалось – к счастью.

Сирота... Но и сироте помогает родное место. Вот... вот... не отец, а... а как бы и за отца? Не отец – а сколько для неё сделал?

И – как добро пожелал. Как угадал!

И вот – уже и его нет...

Вся с детства известная привлекательная окрестность, ещё и под невидимым духом Лермонтова, – как чаша, налитая зноем и счастьем, – томила невыносимостью.

Вот ведь, как чувствовала: и с Саней встретилась. Родная земля, здесь всё возможно!

С Саней-то встретилась, но только раздражилась до крайности. Такая невозможная встреча, в таком переполошенном общем завихре, кажется – что только дать могла, именно по необычности положения – всего мира, и его, и её! – а ничего не дала. Уходила, урчала тёмная вода – и телом своим готова была Варя рухнуть и перегородить ту воронку. Но всё впустую. Тягостно с ним проштатались несколько часов по станции Минеральных Вод – а всё ни к чему. Эта чрезмерная его добродетель, медленная рассудительность – они уже и девчёнке-ученице претили, – а тут, в ослепительном июльском дне, стало видно до чёрточки, как Саня губит себя, – и ничем Варя не могла отвратить. И чего-то резкого ему наговорила, имея в виду свою досаду, а вкладывая в слова другого разговора, – и уехала дальше дачным, в Пятигорск.

А она так неслась, так неслась на родину, как будто не война сопровождала её всю дорогу, как будто не к последним вздохам опекуна, а летела в счастье, вся до щекучих подошв ожидая его.

Как террористки возят на себе пироксилин, в каких-нибудь местах, не доступных для полицейского обыска, под лифчиком, – так Варя везла в себе силу взрыва, уже недовозомую.

Пропадала она в этом Петербурге, никем не замеченная, не привеченная, малообразованная провинциалка. А здесь – горячая чаша родины, и здесь не может у неё не найтись друзей, знакомых, кого бы встретить. Кто-то должен её понять – и ей помочь понять свою судьбу.

И как она будет благодарна! и как отслужит!

Не мог этот приезд её кончиться – так, ничем.

Вот, на черкеске проходящего горца видела она вперепояс узкий ремешок с бляшками чёрного серебра, а с ремешка свисающий кинжал, – вот, это наше, наш мир! (Хотя никогда ни одного горца не знала.)

В дешёвой соломенной шляпке она шла по безтеневому жаркому тротуару – и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара – ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми огоньками.

Варя вздрогнула, как вздрагивает засыпающий, сочтя уже за галлюцинацию, – огляделась: да, мягкий ковёр был расстелен поперёк всего тротуара от двери коврового магазина – и другие прохожие тоже останавливались, не решаясь наступить. Но стоял в двери пожилой коренастый турок в красной шапочке, с дымящимся чубуком, и ласково приглашал прохожих:

– Ходы, пажалуста, ходы, так лучше будут.

Кто – всё-таки миновал, кто – смеялся и шёл. И Варя – пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, – необычайный какой-то счастливый знак.

Голову набок, смеясь, покосилась на щедрого турка. И встретила хитро-властные глаза. С сожалением сосступила с ковра, покидая игру. От ковра через ноги огнём – будто вспыхнули в Варя яркость, красота жизни, уверенность в себе.

От Лермонтовского сквера к другому скверу по незастроенному месту тянулись временные лавчёлки, многие в ряд разнообразные лавчёлки и мастерские – из досок сбитые маленькие ларьки, домики с приподнятыми козырьками над своим дневным прилавком.

Варя пошла мимо них медленно и заглядывала в каждый без смысла. Тут был – продавец рахат-лукума и халвы. Галантерейный лавочник. Сапожник. Лудильщик. Чинильщик примусов и керосинок. А в следующей – жестянщик: висел большой оцинкованный таз у него над прилавком как витрина, вместо названия, а из будки нёсся жестяной бой, хоть уши затыкай, резкий и даже злой.

Мимо этих жестяных ударов Варя прошла бы быстрее, но покосилась – и увидела самого жестянщика, как раз оставившего работу и поднявшегося во весь рост. В такой жаркий день в серой плотной рубашке, под цвет жести, и в чёрном твёрдостоялом фартуке наперед, это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый, как многие на юге, но особенное в нём было то, что при широкораздатом лице, и во лбу и в нижней челюсти, уши у него были неожиданно маленькие.

Варя увидела – и замедлила. Она узнала?.. И через шаг остановилась уже уверенно.

С молотком в руке парень покосился на неё, без исключивой готовности лавочников и ремесленников, и даже угрюмо, как на врага, а не заказчика. Да и не было ж в руках у неё никакого видимого заказа.

А Варя улыбнулась ему во всю летнюю улыбку:

– Вы меня... Ты меня не узнаёшь?

Сама она тогда, только перейдя в полустаршие гимназистки из городского училища, едва сменила, тоже на чёрном фартуке, бретельки на зелёную пелеринку. Но две её старшие подруги, приезжие, с которыми она как сирота вместе жила на квартире, уже водились с таким Йеммануилом Йенчманом (не представлялся Эмма, а всегда Йеммануил). И взявши с Вари твёрдое слово, открыли ей однажды, что это – знаменитый анархист, и что сами они тоже сочувствуют анархизму. От Вари просто негде было им скрытничать на квартире, но Варю охватило святое чувство посвящённости. Девочки прятали то какую-то коробку, то книгу Бакунина, то газету «Чёрное знамя» – и по тайности, и запретности, в хранении жадно читали их, от общих принципов – что должен быть полностью уничтожен весь нынешний строй жизни и надо посвятить себя неуправляемому, неотступному разрушению, и до рецепта, как делать «македонки»: в кусок водопроводной трубки насыпать бертолетовой соли и вложить ампулку серной кислоты.

Так вот с Йенчманом раза два-три появлялся и Жорка – сильный, молчаливый паренёк, ещё не развитый, но обещающий самоучка, как говорил Йеммануил. И держал его на подмогу, на замену, для поручений. Ему тогда было лет пятнадцать.

С тех прошло? – семь лет? Варя ни разу с тех пор не видела их обоих, даже забыла совсем, вот никак не думала, что и сейчас он в Пятигорске.

Из своей полутёмной пещерки-ларька недоброжелательно искоса смотрел.

– Не узнаёте, Жора?.. Я – Варя... Я – из тех гимназисток на Графской улице... куда вы... куда ты приходил с Йеммануилом.

Почему-то само прорывалось «ты». Да ведь ей тогда тоже было тринадцать, детское. Хотя вот он уже не подросток, а сильный мужчина с узластыми плечами.

А он из полутьмы смотрел на неё кособрово, ему это, видно, сильно всё не нравилось. Как-то гмыкнул, ничего ясно не выговорил, полуотвернулся, сел на низкий стул – и на выдвинутой железке стал обивать загнутый край лохани. Молотком он бил по твёрдой железке через подставленную жесь, понемногу поворачивал лохань и снова бил, подбивал. Бил он сердито,

как будто на эту жестянку сердясь, бил и подбивал, голову наклонив, оттого ещё хмурей. И на Варю даже не смотрел.

А её – как приковало к этому тёмно-деревянному нечистому прилавку с обрезками цветной жести, то белой, то жёлтой стороной наверх, и кой-где присыпом металлической пыли. Она обоими локтями оперлась, вглядывалась в крупнолицего мастера и настаивала:

– Не можете вы меня не помнить! Там было две старших гимназистки, а я – младшая, Варя. А я – так помню вас!

Пять минут назад она ничего о нём не помнила – а сейчас вдруг из трубы памяти, через раскрывшийся раструб – потянуло сильным тёплым током, и она вспомнила даже клетчато-бордовую рубашку, в которой он бывал тогда, даже на каком стуле он сидел и движения его рук. Сейчас – это всё очень помогло, – и силой вызывающего чувства она вытягивала из памяти ещё, ещё, какие-то анархистские программные фразы: разрушение несовместимо с созиданием... действенное разрушение и есть свобода... бороться с общепризнанными авторитетами... взрывать памятники...

А он поколачивал свою поделку со злостью, как удары нанося извечному врагу, и перекошены были его сильные, крепкие, мясистые губы.

Варя – уже больше различала в затеньи лавчёрки, хорошо видела его набок положенный гладкий смоляной чуб, только глаза от неё уходили. И – длинный негибкий чёрный фартук, то ли прорезиненный.

Тогда – и на ней тоже был короткий чёрный фартучек, но каждой складкой льнуший, как положишь.

Не мог он её не вспомнить! Она не уйдёт иначе!

Она и не шла никуда. А из трубы памяти – выносило на помощь, и она вытягивала – с изумлением, как новое:

...Только через преодоление культуры возможно достижение анархистских идеалов. Долой научное насилие, долой университеты, синагоги науки! Анархист вторым делом объявляет террор науке! Похоронив религию – затем похоронить и науку, отправив её в архив человеческого суеверия...

Удивительные, неожиданные слова! А что, какая-то односторонняя правда есть и в этом? Наука – холодный, сухой, безсердечный путь. Особенно для молодой женщины. Особенно для одинокой.

Но как это помнилось? но какой силой вызвалось сейчас?

...Формы борьбы могут быть разнообразны: яд, кинжал, петля, револьвер, динамит... динамит, динамит...

Бил со злостью – и не узнавал? Резкий железный близкий звук хлестал по ушам Вари.

Тут ей осветилось: он не хочет узнать – из конспирации! Он – и по сегодня состоит в каком-то жутком чернознаменном обществе. Или не состоит, но скрывает прошлое и опасается быть опознанным.

Да разве она – его предаст? Да она могла бы ему даже помочь – выручить в чём-то конспиративном. Или – помочь ему в чтении, в развитии, – ведь это ему, наверно, трудно.

И ещё сильней придавило её к прилавку, всем передом, как вертелся каруселью весь лавочный ряд, а эта лавочка была на них двоих, и её прижимало всей центробежной силой.

– Жора! Я никогда вас не выдам! – выговаривала она сильней, через жестяной лязг, через примусный шумок сбоку, но – и не так, чтобы соседи слышали, а ему одному. – Вы можете быть совершенно уверены! Ты можешь быть...

Через лязг, через шум и от боязни не убедить – дыхания не хватало. Но он услышал, понял. Перестал бить. И повернулся к ней. И как она видела теперь всё его возмужание за эти годы, и всю его решительность! И закрытую загадочность. А по широкому подбородку и на верхней губе – стоячая чёрная щетинка.

– Ты можешь на меня... положиться!

– А чего – положиться? – спросил он грубо. – Чего нам раскладывать? Ты себе – барышня, и проходи.

В грубости голоса его была как команда.

– Ты можешь положиться! – всё уверенней и увлечённей выговаривала Варя, так же прижатая к прилавку, и не заметила, заметила, что голым локтем раздавила лепесток сажи, перелетевший от примусника, – и тут же забыла.

Прохожие за её спиной миновали, заказчики не останавливались – и она с локтей смотрела и смотрела на отчаянного анархиста. И вспомнила, да:

...Революционер знает только науку разрушения... Холодной страстью должны быть задавлены все его нежные чувства... Он – не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире...

Ну конечно! Ну понятно! Он – добровольно всего лишён в этом мире. Но разве помеха – дружеское участие? светлая помощь?.. Сама сирота – как понимала Варя всякое сиротское одинокое положение!

Смотрел.

Столько горечи, столько невысказанной тяжести было в его мрачном небритом лице и чёрном взгляде.

– Наверно, у тебя была это время очень тяжёлая жизнь? – как будто могла его утешить.

– Было, – вдруг открылся он. – Предателей много. Редкий не предатель. Попался я на одном деле, укокали начальника тюрьмы. Дали арестантские роты.

– И долго? – (Так и предчувствовала она!)

– Потом – амнистия, на ссылку заменили. И выбросили в собачью жизнь, вот... Им бы такую жизнь...

Видно, и не женат.

Отдал молотком по железке, трахнул вместо слов.

– Я никак не думала, что вы в Пятигорске!..

Он приоткрывал подземный, тайный, преследуемый мир – и она не смела больше говорить ему «ты», он вырос перед ней. В этот страшный мир она не готова была вступить – но если бы он властно позвал, то может быть и... В какой бы ни форме, но – слиться с народом, кто об этом не мечтал?

– Южно-Русская Федерация?.. – ещё вспомнила и прошептала.

Когда он и не бил по жести – мешал слитный шум нескольких примусов от соседа.

Но Жора – расслышал и пришикнул, как на кошку:

– Тшуть!

Замерла.

– Продали Федерацию, – доверился он, услышала. – Из Киева. Сами виноваты, много психики наводили. Даже *экссы* стало делить нельзя. Ну и развалились...

– А Йенчман? – спросила она, да просто напомнить их общее прошлое.

Махнул рукой:

– Он стал – пан-анархист. А я – анархист-коммунист. Они – учёные слишком. А анархист-коммунист не должен ничего читать, чтоб не поддаться чужому влиянию. Все свои взгляды он должен выработать сам, только так свобода личности.

Высказал, а лоханку проклятую доделывать. Бил.

Выше фартука ещё двигалось, а ниже – стоял дыбчатый фартук неподвижным хребтом.

Какая воля была в нём! Какая сила в подземном кузнеце!

Но если он не нуждается даже читать – то в чём она ему поможет? Но может быть – с кем-то связать, куда ему нельзя появиться? Если бы он доверил?..

Не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр.

Остановился бить, но помахивал молотком и смотрел жгуче:

– Все-е будут ползать перед нами на коленях! У все-ех мошну растрясём!

Непобедимые глаза!

– Всех подлецов стрелять по одному! – смотрел и на неё, как на подлеца. – Наели шеи жирные в крахмальных воротниках. А собачку нажмёшь – мясная туша.

Варя не знала, как смягчить его, чем угодить навстречу.

– А попам долговолосым – расчесать гривы, за гривы вешать.

– А не жалко? – усумнилась.

– Никого не жалко, – откровенно шевелил он тяжёлыми губами. – Должны знать, что сила на них идёт, пусть боятся!

Страшные он говорил слова! – но и жизнь ведь жестока. Это на Бестужевских курсах, на благополучной поверхности можно так категорично оперировать моральными правилами.

Навалило Варю на прилавок, платье не бережа.

А память подавала ей любимый спор тех лет, сейчас так объясняющий это гордое одиночество: имеет ли право революционер на личное счастье? Или должен постоянно подчинять его революционному идеалу?

И жалея его, обойденного, обделённого, явно одинокого, загнанного, затаённого, – простонала ему через прилавок, уже в половину его ширины:

– Жо-ора! Но вы не должны лишать себя...

– А?

Перестал бить, посмотрел. Всё не расхмуренный, раздражённый.

А она не уходила, не отходила, не слегала с прилавка. Пока не захлопнется козырёк ларька.

Не бил. Молчал, смотрел, соображал. Сильные чёрные глаза.

Но заогнились, от подземной кузницы, от скрытого горна?

Глаза в глаза, ещё подумал и сказал:

– Ну, зайди.

Сильно шумели примусы.

Отлипла от прилавка, не видела сажевого пятна на локотке, может где и платье, – и подняв доску, вступила в узкий зев прилавка.

А дальше идти и некуда: два шага на два шага, и заставлено, завешано кастрюлями, ведрами.

Зачем сказал войти?

Поднялся – неровно, как ногу отсидев, на голову выше её. Ступнул ещё вглубь, там надавил низкую дверцу, кивнул головой:

– А ну!

Вот что! Оказывается, в ларьке ещё был скрытый задний чулан, и туда вела эта дверца – такая низкая, что даже Варю надо было голову приклонить, чтобы войти.

Какая-то тайна.

Варя безстрашно протиснулась мимо дыбчатого фартука, наклонённого плеча анархиста – и вошла туда. Как в подполье.

Доверил? Понадобилась!

В тесноту такую, что еле повернулась – и от спины её предупредительно гроыхнуло дном висящей жестяной ванны.

И чем-то сбило соломенную шляпку, попрыгала она куда-то.

Это был наглухо сколоченный чулан, но щели в разных местах, и всё же светилося.

Жора сильно пригнулся, вошёл. И ещё раз гроыхнуло прогнутым железом, как глухим громом.

Так было тесно, обвешано и обставлено, что только и стояли они друг против друга.

И что же тут?

В пережных щелях видя его, стояла.

Ужасно шумели примусы!

Но когда он сбросил фартук – тот отчётливо, твердо стукнул о пол.

Она – если и начала понимать, то не хотела понять!

А он – страшно молчал!

Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане! колодце!

И ощутила на плечах неумолимое давление его нагибающих рук.

Вниз.

9

Возвращение Захара Томчака в экономию. – «Война – бисова дурость». – Освобождение мастерам. – Тревоги Евдокии. – «Россию кормлю!» – Досада на сына. – Забрать с курсов дочь. – Мечта о герое. – Любовь Ирины к загадочному. – Примирение с мужем. – Флажки на Восточной Пруссии.

Иной год платили Томчаки управлению Владикавказской железной дороги шестьсот рублей, и чтоб любой скорый по их требованию останавливался на их станции Кубанской, а не протягиваться им до Армавира лишних двадцать вёрст.

В этом году управлению не платили, но скорые останавливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатеринодара, Захар Фёдорович в Кавказской не стал ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел позвать к себе старшего кондуктора, приготовил на столике две красненьких, ему и машинисту, и объяснил, где надо остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что деловой человек бережёт время, обещал – и сделал точно. Недалеко до вечера, но сильная жара ещё стояла, Томчак один со всего поезда, при головах, удивлённо высунутых из окон, сошёл на станционные пути без тени. От рыжего гравия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах мазута.

В тени склада стоял фаэтон, ожидавший целый день. (Давно уже была у Томчака «русско-балтийская карета», и рессорами, и спицами, и осями вполне похожая на обыкновенную телегу, но то для шику, иногда в гости, – ездил же Томчак почти только на лошадях, так чувствовал себя неестественно; в церковь и на станцию, где люди видят, – в фаэтоне.) Кучер спохватился, побежал принять от хозяина маленький баул, потом – зануздать лошадей, искусанных слепнями.

А сына – не было. Не встречал его сын – чёртова притыка, а не сын, из какого семени он вырос?

Начальник станции вышел руку пожать Томчаку, но через пути опоздал: фаэтон уже покатил, Томчак торопился, как всегда, а тем более, потеряв три дня на поездку, весь охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нём – проверять, как тут что идёт в самое горячее время. Что за плечами – то оторвано, думал Захар Фёдорович о делах – передних, не сделанных, не проверенных, и может быть упускаемых. А ещё – от накипи сердца, что сын не встретил.

Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и первую из молотилок в облачке взвешанной половы – и тут же бы свернул к ней, как есть, на фаэтоне, да не стал людей смешить, надо всё ж переодеться и пересесть на дрожки.

Думал: про молотьбу; что карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот вторая стрижка меринсов; и не пора ли кукурузу ломать да кочаны убирать в новый амбар, на миллион пудов с жалюзным проветриванием (все стенки хоть открываются на продув, хоть закрываются плотно от дождя; это хранение, перенятое у немецких колонистов, если правильно заложить, обещало большой барыш).

У колонистов Томчак много чего перенял, и всегда это приносило ему барыш. Очень он уважал немцев – и войну против Германии считал бисовой дуростью, как свою драку палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием Карпенко – из-за того, что тот назвал дурой свою невестку, старшую дочь Томчака. Дура и есть дура, её из четырёхклассного училища выхватили, чтоб за богатого человека отдать, и из-за того деловым людям стыдно драться. Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить. Сейчас, когда годы

такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Еригерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки.

Тем более не видел он резону отпускать на эту войну ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно служивших ему по вольному найму на охране имения и кассы после того случая с разбойниками. Всех он от войны освободил, кого хотел, с этим возвращался. И если б они его на станции встретили, да во главе с сыном, вот то был бы отцу и почёт, вместе бы и порадовались.

Всё ж у каменных белых въездных столбов сидели вприсядку на земле и ждали хозяина: двое казаков, дизельный машинист, один садовник да романов шофёр, брат лакея. И Томчак остановил фаэтон и поднявшимся, окружившим сказал тепло, как обязанный им не меньше, чем они ему:

– Усэ будэ добрэ, хлопцы. И друкым майстрам кажить. Робить як робылы, та Богови добры свички поставьтэ.

И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора – но с верхнего этажа выглянула только мать. А он и не высунулся.

Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Томчак сошёл и быстро в дом. Теперь он уже и не хотел встречаться с сыном.

Ни одна половица крепкой молодой лестницы не скрипнула под его ногой, да и сам он в пятьдесят шесть лет поднимался, как молодой.

В верхней прихожей, выставя руки в надежде и в слабости, стояла перед ним его бочкотелая жена.

– Ну як, отец? – почти даже голоса не было у неё спросить.

А ему и отвечать шкóдило: здесь, под крышей домашней, особенно приходилось как унижение. И, лба жены прикоснувшись чуть, он молча шёл в спальни. Она за ним.

Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подагра привязалась к ней и ещё дюжина болезней, и тем больше болезней, чем она лечилась больше. (А нияких докторив николы слухат нэ трэба! К себе-то Томчак их и не подпускал: он *лучше усих докторив* знал, как себя когда лечить.) Сперва покупали грязевые бочонки и сестру милосердия выписывали в экономию делать хозяйке ванны, потом признали ей нужным ездить в Ейск, Горячеводск, Ессентуки – а там только в кружевных платьях да в экипажах, так донимали болезни горше.

Но сейчас попевала Евдокия живо и в своей спальне, пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступила дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спрашивала почти, а смотрела на его усатое, носатое, бровастое лицо, как на Илью-пророка: ударит или не ударит?

Говорить Томчаку не хотелось. Схлопочи, принеси – а он на диванчике будет лежать, не встанет. Добрэ було бы – так и уйихаты у стэп, никому ничóго нэ сказав. Но посмотрел, как мучается старá, – пожалел, буркнул:

– Прысягавсь воинский начальник – билый билет на усю вийну.

Евдокия ослабла, отеплела, повернулась и крестилась на главную икону:

– Ну слава тебе! ну слава тебе! Услышала Богородица мои молитвы.

– Та ни, – поморщился Захар, кидая шляпу, срывая пыльник. – Богородыця тут с краю.

То я трохи пидмазав, шоб нэ рыпýло.

И – шёл к себе, но зорко обернулся, что она отстаёт уже, и огнём метнул из-под бровищ:

– Ты куды?! Нэ пидэшь! Хай йому грець, шоб вин сказывся!! – Красная от ветров, с узлами вздувшихся тёмных трубок, рука его сошлась в кулак. Потряс. – Сам прыйдэ, як йому потрибно.

– Та я нэ до Ромаши, – лгала счастливая Евдокия. – Чого подать тоби, кажи?

– Ничóго. Бальзаму выпью. У стэп пойиду зáраз.

И срывал с себя парадную тройку, всё до исподников.

Огненный дёготный рижский бальзам стал его любимый напиток, с тех пор как недавно он его в Москве узнал. Один такой глянцевый кувшинчик стоял у него в столовой, другой в спальне, пил Захар Фёдорович по маленькой серебряной стопочке.

– Та хоть борща постного! – предлагала жена, залитая радостью. – Разогреть?

– А чого там грить? – квасоль чи масло пидсонечное? Холодного давай! – И ещё вдогонку крикнул: – А кажи козаку бигты до Сэмэна та дрожкы закладать.

Спальня Захара была за спальнею жены и без отдельного выхода. «Зато в мэнэ сквозняквив никола нэ будэ!» – говорил он. По степи в лыху годыну, в дождь и в холод мотался он не стережась, но дома боялся сквозняков и спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а по-деревенски пристроена была к печи широкая кафельная лежанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса большая, вделанная в стену, в неё он швырял на ходу, на ходу и вынимал; конторских книг лежало несколько, но никого из служащих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах наслаждался мало, – он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках; а золота Томчаки избегали, как и все получатели, как и все рабочие (обранивался из кармана маленький золотой), в банке приходилось чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а давал ассигнации.

Однако и в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе – там досмотреть, там управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищённые от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили всё гуще и налиivistей; как порода коров сменялась на немецкую трёхведерную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в копильню (ветчины и колбасы выделявал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове); и главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки.

Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него: обойти глазами весь этот объём и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда: «Та я ж Россию кормлю», и такую же похвалу выслушать.

Пока жена ходила за борщом, Захар Фёдорович переделся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой подошвой («шоб ноги спáлы»). Поел бы он сейчас свиного сала розового в четверть высотой или горячей чабанской каши с барашком, но надо было Успение пережить. Зато пшеничный хлеб «со вздохом», от руки сжимаемый втрое, он полосанул длинным кухонным ножом от края до края и склонил усы над большой миской холодного постного густого борща.

А жена стояла против него, сложив руки на толстом животе, и смотрела, как он ест.

Торопился он кончать да гнать по степи на дрожках (тырдыкалку одноосную не любил). Но постучала и вошла невестка.

– Шо? Уже Роману сказали? – насторожился и от миски, как пёс, зарычал Захар Фёдорович.

– Та ни, ни, – виновато успокаивала жена. – Тильки Ире, ма́буть можно?

А Ирина вошла невиновато, прямая как всегда, с высокой шеей и пышной высокой причёской. Только то за весь день знала она от лакея, что муж её не умер там, в спальне: обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свёкор усы мочил в борще, – не благодарила, молча смотрела, но с одобрением; с дружбой.

На всех в доме мог Захар Фёдорович кричать, громы метать, – на неё никогда, с первого дня она так себя повела и почувствовала здесь. Правда, и поперёк ему она ничего не делала, даже не надевала дома дорогих нарядов и *цацек* (бриллиантов) из-за того, что он не любил. Верный тон найдя, она умела убеждать его там, где никто, к примиренью с домашними, с дру-

гими экономистами. Свёкор вздыхал: «Божье дытя ты, Ируша», и уступал. Когда в политике что случалось, сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как невестка толкует, по «Новому Времени».

– Ну, пидыйды, пидыйды, – показал он ей и, посередине борща обтерев большой плотной салфеткой рот и усы, поцеловал в наклонённый лоб. Однако не пригласил её сесть и ничего ласкового другого не сказал, а, громко чавкая и второй перекройный ломоть добирая из руки, зажёвывая, пропускал между глотками сердито: – Жалкую, шо йиздыв я та вызволяв... Пишов бы вин на вийну – о то була б йому прочуханка... Бисова дытына, лыха вин нэ бачив...

Чавкал.

И Ирина – понимала свёкра: что освободить сына – дерябило его, и только тем смягчалось, что освобождал и работников. Возразила ненастойчиво:

– Ну как, папа, вы можете так говорить?

Он ел своё, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, ожесточаясь:

– И скажи йому: нэхай вин свое дило розвэртае, моёго нэ ждэ! А я кращэ плэминнику усэ завещаю. Або... – Он начинал ещё не так твёрдо, но вот лицо его потвердело, решение проступило между двумя глотками: – ...або Ксинью зараз с курсов визьму та замуж выдам!

– Папа! Папа! – ахнула, взялась Ирина, своды бровей поднялись. – Да это вы стгоряча! Для чего ж тогда было и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?

Бывало, слыша о просчётах других экономистов, Захар Фёдорович говорил: «Дывысь, то ж бы и я нэ зрозумив. Трэба своего агронома йматы. Дэсь мэни такого шукать, шоб и дило добрэ знав и роботящий був, свий чоловик и нэ жулик?» В такую минуту Ирина с Романом и уговорили его отдать Ксенью на агрономические курсы: вот уж будет свой агроном, куда ближе!.. А сейчас совсем другое высматривал Томчак мохнатым степным взглядом:

– А тот и резон. Будэ мэни через год внук, а через пятнайцать – насліднык.

Кончил хлебать, вытирался. Закрылась салфеткой нижняя часть лица, а верхняя выражала застигнутую боль.

Не только им, бабам, но вообще не мог Захар словами назвать, в чём его расплох и смятение. Не деньги, не имение гибло – Роман не вертопрах, но нарушался главный ясный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести – душа должна продолжать душу. А для этого чужого, чёрного – зачем было всё сделано и налажено?

Ирина же своё бабичье выдвигала:

– И как вы можете, не спросясь её – замуж? И – за кого?

Поднялся Томчак. Рядом со стройной Ириной громоздилась его запорожская фигура:

– А *там* йийи – за кого? За штудэнта? А вин на каторгу потом пидэ? Дурак я був, шо йийи учив. На усих басурманских языках балакае, а в Бога развирьлась. Та був бы сын як сын – да учись аж до сорока годив, дёки на тэбэ вже и дывытсья нэ будут. Э-эх, старá! – крикнул он и взял лёгкую походную палку с крючком, полированным от долгой носки. – Нэ дала ты мэни другого сына.

– Бог не дал, отец, – вздохнула жена, и благостно-покойно было её раздобренное лицо.

– Та я Его волю нэ знаю, Бога... А моя – ось такá.

И шагом сильным, крепким ушёл, и слышно было, как сбегал по лестнице.

Оря – всегда восхищалась свёкром. Он был – делатель народной жизни, как и её покойный отец. Десятки людей работали и кормились вокруг него. И он понимал широту своей службы, ничего не жалел для работников, не трусился над богатством. Да по сути сам себе он от этого богатства не много и брал. Наверно, такие и должны быть простые герои в реальной жизни.

С юности они рисуются иначе. Герой затаённый у неё был, с девяти лет, – Натаниэль Бумпо, куперовский «Соколиный глаз», безстрашный благородный воин. Только такому герою

должна была достаться Оря! – но ни такого, ни сходного она никогда не встречала. Лишь, своему внутреннему жребию служа, полюбила стрельбу, носила в дамской сумочке или держала в ящике трельяжа маленький дамский браунинг, а на стенном ковре на ремне висело её английское дамское ружьё – для дробы и для маленьких пуль, пробивающих две верхковые доски. Когда в экономию приезжали в гости офицеры из гарнизонного штаба, натягивалось за скотным двором на двух столбах полотно, и Оря стреляла с офицерами, не уступая очков. Если когда-нибудь встретится её герой – она могла бы быть его достойна...

Но – где? зачем? и разве он может теперь встретиться?..

А впрочем – что мы знаем об истинных токах жизни?

Оря вообще любила – загадочное. Ей нравилось верить, что силы потусторонние таинственно действуют рядом с нами. Вот почему-то же висела над ними комета Галлея в год постройки этого дома, посадки этого парка...

Всё, что *здесь* нам недосказано,
Мы постигнем в жизни *той*...

Она любила мечтать, ходя под звёздами. А ещё даже больше – в закатном жёлтом обливе, на крайней западной аллее парка, откуда начинались уже виноградники, и через них всякий погожий летний вечер непреграждённое золотое осияние вырывало её гуляющую фигуру из этого парка, от этого дома, от этого мужа, из этого мира, – всю в солнце, никем не тревожимую.

И сегодня такой был закат. И хотелось туда уйти, побродить свободно душой, как бы без тела, без его огорчений.

Но если бы тотчас же не пошла объявить Ромаше она – поторопилась бы свекровь.

Впрочем, с этой вестью не было унижения войти первой. С такой вестью можно было войти и не прося прощения.

Никаким предупредительным шарканьем, кашлем, стуком Ирина не предварила свой приход. Подступила тихо и открыла тихо.

Сразу из двери обдал её смешанный жёлто-розовый свет: ещё просачивался сюда закат между вершинами парка, проходил веранду и остеклённую стену с веранды в спальню – а здесь поддерживался бледно-розовой обивкой стен, отзвонком розово-золотистых покрывал и посвечиванием бронзовых столбиков двух двойных кленовых кроватей.

Так был ещё свет читать. И *он* сидел в низком глубоком кресле, спиной к ней. И в руках держал развёрнутую газету. Слышал дверь, не мог не угадать шагов. Но не обернулся.

Он до конца должен был выразить, как он всеми здесь обижен – но и как он твёрд.

Он так сидел, что Ирине виделось выше кресла лишь облысевшее темя его чёрной головы.

И эти глубокие взлизы лысины в тридцать шесть лет, эта знакомая беззащитная макушка вдруг смягчили Ирину. И то вязкое, что мешало ей идти дальше, – отвалилось.

Освободившимся шагом она пошла на поворот его головы, на перемесь обиды, колебания и готовности просиять на этом тёмном, ещё от света отвёрнутом и сегодня не бритом лице.

И ровным голосом объявила:

– Всё хорошо, Ромаша. Папа сговорился. Обещали, что будет крепко.

И уже подошла вплотную к его креслу, так что он и встать из своего запрокида не успел – но схватил её за руки и, целуя их, говорил что-то, захлёбывался. Не о ссоре, не о вине, своей или её. Ссоры как не бывало.

И отца – как бы не было, Роман о нём не сказал, не спросил, не потянулся благодарить.

И Ирина не решилась передать ему брань и угрозы отца.

Руки Ирины были открыты выше локтей, и Роман целовал ямочки у локтей, и выше, чистую нежную розоватую кожу её, без единого пупырышка. А дальше тугие рукава не поднимались. И, повернув её, он усадил к себе на колени, и голову прижимал к её груди.

И опять она сверху рассматривала его лысину меж коротких, жёстких, но слабых волос. И осторожно поцеловала её:

– Мушечка.

От «макушечки» или от «мужа» сложилось такое ласковое у них: мушечка. Он любил это прозвище.

Он оживлённо, радостно говорил, много. Ирина не сразу даже вникла. Он обещал ей, что после Америки, куда он давно хотел, как в самую лучшую, деловую, разумную страну, и даже прежде Америки, лишь бы вот кончилась война, они поедут по её заветному (давно высказанному, отвергнутому и затаённому) маршруту: в Иерусалим, Палестину, а потом в Индию.

– А смотреть будем как? – спросила Ирина. – Как Париж?

(На Эйфелеву поднимал скоростной лифт. – «А чего мы там не видели?» – боялся он высоты. – «Тогда я одна!» Если «одна» – тащится и он. Могила Наполеона? – «А что нам Наполеон? Да мы, русские, уморились его лупить».)

– Нет, нет, всё подробно, – обещал он, но уже освобождал с колен, но уже мял свою удлинённую папиросу и шёл покурить на веранду, прихватывая смятую «Биржёвку». – Ирочка, ты вели на ужин что-нибудь лёгкое нам сюда принести, вроде цыплят. Никуда не выйдем, спать ляжем.

Ещё на веранду доставало свету, а в спальне по минутам темнело, и погасли, серели все цвета. Но Ирина не зажигала электричества.

Она перешла в безоконную глубину спальни. Нехотя и как тяжесть железную подняла за угол обезцвеченное в сумраке покрывало на одной из раскидистых кроватей. И так задержалась, осталась, держа поднятый, непосильно-тяжёлый угол...

За какую завесой, за каким покрывалом таится от обыденного опыта людского, от многих и всю их жизнь – то благословение, то сожигание, какое в старости посетило отца, – чтоб не побояться ни мирского осуждения, ни Божьего суда, безстыдно кинуться подкупать архиерея – только бы пережениться на любимой?..

Жалость к мужу как быстро посетила Ирину, так быстро и ушла. А жалко стало ей своей прошлой отдельной ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало – обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную бессонницу ей лежать на спине, разможжённой, – и нет горла крикнуть, и нет наверх верёвки. И героя – не будет никогда.

...А Роман, уже несколько часов дуревший над газетами, только сейчас ощутил весь их горячий интерес и смысл. Газеты как переменялись, как будто посочнели и запульсировали буквы. Ещё не темно было на веранде, и он подошёл к карте, смотрел на свои флажки и на линию границы.

С тех пор как граница была утверждена Венским конгрессом, вот эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда ещё не испытывалась: Россия с Германией не воевала с тех пор... Да больше, да лет сто пятьдесят не воевала... да самой Германии ещё не было... И вот – первая проба границ и расположений.

А старая поговорка от фридриховских времён: русские прусских всегда бивали!

Наступаем *мы*, наступают *наши*! В сообщениях штаба Верховного Главнокомандующего не указывались номера армий, корпусов и дивизий, и нельзя было точно понять, куда ж именно поставить флажки. Да и флажки неизвестно что выражали, их число придумал сам Роман, как ему показалось удобно. От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все флажочные булавки – вперёд, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!

10

В штабе Второй армии. – Генерал Самсонов не поспевает за ходом событий. – Неготовность войск. – Наступление в пустоту. – Споры с Жилинским. – Возврат генерал-квартирмейстера из штаба фронта. – Весть о победе генерала Мартоса. – Клеймо труса. – Полковник с бумагой от великого князя.

Стемнело, и у каменного двухэтажного штаба Второй армии в Остроленке зажглись электрические фонари. У ворот и у парадной двери стояли молодцеватые часовые, да прохаживались по улице двое патрульных, то входя в тени деревьев, то выходя из них.

Армия, руководимая этим штабом, уже неделю наступала на неприятеля – но здесь не было тревожного снования, прискока и отскока верховых, грохота экипажей, громких распоряжений, догона, перемен, – всё успокоилось к вечеру и дремало, как остальная Остроленка. И какие окна светились – те светились, а в каких было потушено – те не засвечивались, и в этом тоже был покой. И не стягивались к штабу переплетения полевых телефонных проводов, а спускалась со столба постоянная городская пара.

Проход по улице вблизи штаба не был запрещён жителям, и польская младость в чёрном, белом и цветном гуляла по тротуарам. Уже многих молодых поляков взяли в армию, паненки гуляли дружка с дружкой, а кое-кто и с русскими офицерами. После жаркого дня вечер был безпрохладный, душноватый, многие окна открыты, и слышалось изнедалека граммофонное пение.

Диковинно светя белыми снопами фар, качаясь и тарахтя, из-за угла за квартал выехал автомобиль, прогрохотал по улице, вскрутил пыль и под честь часового въехал в ворота. Автомобиль был открытый, в нём сидел маленький мрачный генерал-майор.

Стихло опять у штаба. Проплыл по улице в сутане полный ксёндз. Поклоном всей спины и поклоном шляпы на вытянутой руке его приветствовали прохожие паны, как никто не здоровается в России с православным священником.

Показался извозчик, он вёз двоих офицеров к штабу. Офицеры расплатились, соскочили, вошли.

Старший из них, полковник, не в первом вестибюле встретил дежурного офицера, а когда встретил – предъявил ему бумагу. Бумага оказалась серьёзная. Дежурный, придерживая на боку шашку, побежал наверх, докладывать начальнику штаба.

Тот удивился, встревожился, едва было не пошёл встречать приехавшего сам, передумал, хотел принять его в кабинете, тоже передумал и, крупнотелый, посеменил к комнате Командующего, генерала Самсонова.

Генерал-от-кавалерии Самсонов за долгие годы устоявшейся военной службы то наказным атаманом Войска Донского, то туркестанским генерал-губернатором и атаманом семире-ченского казачества, привык служить размеренно, разумно и внушал подчинённым, что, следуя Создателю, каждый из нас может в шесть дней с умом управиться со всеми делами и ещё шесть ночей спокойно спать, а в седьмой день благорассудно отдохнуть. Суетуну же не управиться и в седьмой день.

Но за последние три недели жизнь 55-летнего генерала наполнилась будоражным движением и неутихающей тревогой. Непосильно стало управиться ни в будни, ни по воскресеньям, и перепутался даже самый счёт дней, вчера только к вечеру он вспомнил, что прошло воскресенье. Что ни ночь – безсонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и

посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший соображать.

Три недели назад высочайшим повелением Самсонов был отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и перенесен сразу на передовую линию начинавшейся европейской войны. Давно, после Японской, он побывал здесь начальником штаба Варшавского округа; по той старой должности и сегодня определён сюда. Доверие Его Величества было почётно, и, как всякую службу, хотел бы и эту отправить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика, семь лет он не касался оперативной работы, лишь административной, он и корпусом никогда в бою не командовал – а вот ему вручили сразу армию.

Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прусский театр, никто эти годы не знакомил его с планами войны здесь, как они составлялись и изменялись, – теперь его телеграммой вызвали из Крыма, где он лечился, и велели спешно выполнять не им составленный и даже не обдуманый им план, как должны две русских армии, одна с востока от Немана, другая с юга от Нарева, наступать на Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние войска.

Нуждался новый Командующий в неторопливом разборе, уладке, нуждался он прежде всего один побыть, прийти в себя, оценить тот план, посидеть над картами, – ни на что не отпускалось времени ему. Нуждался новый Командующий узнать свой штаб, каково добры в нём советчики и помощники, – но и на это не было льготного времени, и сам штаб был составлен с нечестностью: начальник штаба Варшавского округа Орановский, переходя на Северо-Западный фронт, забрал туда и всё лучшее из штаба. Командующий Виленского округа Ренненкампф, переходя на Первую армию, так же забрал туда свой знакомый многолетний штаб. А в штаб Второй армии ещё до приезда Самсонова наслали из разных мест случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе Самсонов ни этого мямлистого начальника штаба, ни этого жёлчного генерал-квартирмейстера – но они раньше его прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый Командующий и полки объехать, узнать хоть старших офицеров, посмотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы, и тогда только начинать движение в чужую страну, и то постепенно, силы войск для боя бережа и вработывая в солдатство запасных. Но если и Командующий не был готов – то где уж там корпуса! Только три корпуса были варшавских, остальные подвозили издали. Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах, – такая нервная спешка всех охватила спасать Париж. Ни один корпус не укомплектовался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная конница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих направлениях (уже при разгрузке меняли места назначения и некоторые полки гнали пешком рядом с железной дорогой по 60 вёрст), вся армия рассредоточена на территории больше Бельгии. Интендантства застал Самсонов только ещё на разгрузке; армейские склады не имели возимых запасов на семь дней операции, как это полагалось, а главное – не было транспорта обезпечить подвозку на всю глубину, только левый фланг мог рассчитывать на железную дорогу, остальным корпусам оставался гуж, а его недослали, вместо парных повозок одноконные, и лошади городские, не приспособленные к здешним пескам, да ещё неизвестно чьим распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными колёсами без нужды тянулся, и по пескам, полтораста вёрст до границы.

Ни на что не было отпущено времени, нависали неумолимо короткие сроки, гнали телеграммы, весь мир должен был увидеть грозный шаг российских полков – и 2 августа они пошли, а 6-го, как раз на Преображение, добрый знак, перешли русскую границу – однако противника не встретили и продолжали день за днём всё так же идти и идти в пустоту, расточительно оставляя на переправах, мостах и в городках свои боевые части, оттого что не подходили второочередные дивизии на подпор дивизиям первой линии.

В характере Самсонова было – наступать смело и решительно, однако ж не без ума. Никаких боёв не было, но при расстройстве тыла сама скорость движения становилась губительна. И насущно было – задержаться хоть на день, на два, подтянуть снабжение, боевым частям дать днёвку, да попросту осмотреться и твёрже стать. И штаб армии ежедённо докладывал штабу фронта: восьмой, девятый день движения, четвёртый и пятый день по Пруссии, опустошённой стране, откуда вывезены все припасы, а сенные стога сожжены; подвозить фураж и хлеб – всё дальше, трудней и не на чем, две трети армейского сухарного запаса уже съедено; в жару, по песчаным дорогам идут изнурённые колонны – в пустоту!

Но всё то прочитывая, Главнокомандующий фронтом Жилинский, кзади на сто вёрст от Остроленки, ничего не понимал, ничего не принимал, а попугайски каркал своё: энергично наступать! только в скорости ног наша победа! противник ускользает от вас!

Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступать и в мыслях. Он не смел судить императорскую фамилию, стало быть, и Верховного Главнокомандующего. И высших интересов России он также не смел истолковывать своевольно. Разъяснено было директивою Верховного, что так как война первоначально была объявлена нам, а Франция как союзница немедленно нас поддержала, необходимо нам по союзническим обязательствам возможно быстрее наступать на Восточную Пруссию. Ту директиву генерал Самсонов не смел подвергать сомнению. Но всё же говорилось в ней о наступлении «спокойном и планомерном» – а если происходило нечто другое, то с правом можно было приписать это штабу фронта, да ещё зная самого Жилинского – его надменность, жёлтую сухость, колкость. В штабе фронта верстовые подсчёты Самсонова подвергали неверию, если не смеху, и жалобы его приписывали его слабости. Упречные телеграммы и дёрганья от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова – и тут не находил он в себе смирения остановиться и не судить. Упорство высшего начальника не признавать действительной обстановки почему называется *волей?* донесение низшего о том, как идёт на самом деле, почему называется безволием?

Всех-то задач было у главнокомандования фронтом: координировать Вторую армию с Первой, и больше ни с какой. Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обрекало его мелко вмешиваться в распоряжения командующих армиями. Сама же координация с первых дней была лишь палки в колёса. Ни через штаб фронта, ни на местности, ни конною разведкой не чувствовала Вторая армия на земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три последних дня, когда приказы по фронту и вся русская печать восславили победу Первой армии под Гумбиненом, – самсоновские корпуса, идущие с юга, нигде за лесами и озёрами не ощутили подмогу корпусов Ренненкампа, идущих с востока, ни даже его многочисленной конницы, пяти кавалерийских дивизий, и не заметили немцев, бегущих бы с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Ренненкампа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от той победы ничего.

Это всё могло бы быть иначе при другой людской расстановке. Но Жилинский и Орановский были люди какой-то чужой души, не умеющие выслушивать, не желающие столкнуться. С Жилинским в прежние годы Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас представился ему в Белостоке. Но и за неполный разговор, за первые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного у него с этим генералом не выйдет. Жилинский фразы не сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что всё знает лучше и не намерен советоваться с подчинённым. В тишине кабинета он говорил без надобности резко, даже обрывал – и, наверно, себя ж в унижении считал, что так низко сидит, всего на фронте из двух армий.

Да Жилинского только этой весной, смещая с генерального штаба, куда-то надо было устроить, и назначили на Варшавский округ. (А думали Самсонова возвращать сюда, но отвергли за незнание французского языка, нужного для Варшавы. Теперь получается жаль:

вернись бы он в Варшавский округ весной – уже бы вник в дела и военные планы узнал бы раньше.)

Плохие люди все друг друга поддерживают, в этом главная сила их: Жилинского застоял Сухомлинов. А была у Жилинского заступа и выше: он близок был ко двору Марии Фёдоровны, и это давало ему самостоятельность даже от Верховного. Но здесь упирался Самсонов в предел: не ему было судить.

Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, не искал породниться со Двором, но складка печали ложилась в душу: наступи у России тяжкий час – всех этих блистательных хлюстов не сдует ли ветром? их имена тогда – услышишь ли?

Пускай бы возвышались они, да не портили дела. Довольно бы с Самсонова своих забот: принять, поднять и вести Вторую армию. Но – передёргивали, но – ломали всё! Даже состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным: подчинили 1-й корпус – но без права его передвигать; подчинили Гвардейский корпус – и через три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, и Жилинский не предупредил, а уже сам командир корпуса доложил потом); подчинили 23-й корпус – и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, отняли в резерв фронта, другую, Мингина, – в Новогеоргиевск, корпусную артиллерию – в Гродно, корпусную конницу на Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизию Мингина вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие корпуса ещё усиленной, чем те шагали. Ещё формально подчинили 2-й корпус, далеко справа уткнувшийся в озёра и недвижимый (распоряженья ему Самсонов мог посылать – только через штаб же фронта). А вчера пришла телеграмма: 2-й корпус передать Ренненкампфу. То доходило до семи корпусов – теперь оставлен был Самсонов при трёх с половиной!

Да и это б он покойно снёс, если был бы в том толк. Но именно толка не было. Как ни поздно Самсонов приехал сюда, как ни мало было ему времени подумать и узнать, что тут годами трактовалось о Восточной Пруссии, но глядя на эту культу, выставленную против России, он сразу понял, что отхватывать её надо под мышкой, а не с локтя угрызать, и потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, его армия, а не восточная, ренненкамповская.

Однако со штабом фронта тянулась и тянулась разголосица: как понимать задачу Второй армии и по какому направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя через стол, то что можно по телеграфу? Как в чёрта не угодить пестом, так нельзя было ухватить и план Жилинского: что немцы будут жаться к Ренненкампфу, к самой груди, на восток, к Мазурским озёрам, – и ждать, пока накроет их сзади Самсонов. А потому-де самое успешное направление для Самсонова – северо-восточное, наискосок. И всю Вторую армию Жилинский разгружал, сосредотачивал – правее, чем быть ей нужно, и лишь потом постепенно подавал налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу можно было понять, что *гораздо левей* надо армию развёртывать – у железной дороги Новогеоргиевск – Млава, единственной во всём районе наступления, тогда как у немцев подходил десяток железных дорог. Как можно было единственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать по песчаному и болотному бездорожью?!

Но уже опоздав предлагать собственный план и другую дислокацию, Самсонов послал встречную записку, что – да, надо ему наступать наискосок, да только не на дурной искосок, прочерченный Жилинским-Орановским, не к северо-востоку, а к северо-западу: не обняться с Ренненкампфом впустую, а спешить удержать немцев в неводе, не дать им уйти за Вислу.

И уж в этом уступить было никак нельзя: надо совсем дураком себя счесть, дергунчиком на верёвочке. Жилинский слал ежедневные директивы: наискосок направо! Самсонов ежедённо просил: наискосок налево! И, не упуская правого края, стал полегоньку сам погибать налево: в приказах корпусам и дивизиям по две-три деревни выбирал каждой левее. И когда уже перешли немецкую границу и ни в первый, ни во второй, ни в третий день не встретили никаких

немцев, ни одного выстрела не услышали и не сделали, – Жилинский всё видел свой вздор: что немцы замерли против Ренненкампфа и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном уголке у Мазурских озёр, в косом простенке между Ренненкампфом и Самсоновым, и ждут терпеливо, когда их в мешке зашьют, – Самсонову же стало окончательно ясно, что Жилинский гонит его в пустоту, немцы уходят из наших клещей, льются на Запад, и последняя надежда – растворить клещи пошире.

И так – делал он, и сколько мог, отклонял левую клешню налево, а Жилинский не утверждал, держался за правую клешню, и все чувства и сердце уходило на этот спор, а корпуса между тем шли и шли, и только дерготнёю и зигзагами генеральский спор удлинял их путь, трагались ноги на ошибки направлений. Эти вёрсты на солдатских подошвах Самсонов ощущал, как на своих, они палили и мозоли натирали, и союзки отпарывались от ранта, – и всё же не мог он без противления выполнять обалделые приказы штаба фронта.

А ещё от этого спора – растягивался фронт веером, три с половиной корпуса редели на семидесяти верстах, и в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем обиднее, что правильно: растянута.

Самсонову всего спокойней было выполнять приказ, как он получен. Но – приказ вовсе бессмысленный? Но – приказ, заведомо в ущерб Отечеству?

Ему не давали общую армейскую задачу, а форма пусть будет твоя, – нет, и саму форму регламентировали до последнего штриха и цукали за малое отклонение. Командующему армией не оставалось никакой свободы, он был как лошадь стреножен.

Чтобы хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, Самсонов в последней надежде вчера послал к Жилинскому своего генерал-квартирмейстера Филимонова – объяснить устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба, прямо на север, на Балтийское море. И настойчиво просить хоть полные права на левофланговый 1-й корпус резерва Верховного, который не разрешалось выдвигать. (И по которому приказы Самсонов узнавал с опозданием.)

Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные аппараты стучали и настучали ещё две директивы от Жилинского – вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было всё то же: не трогать 1-го корпуса, а остальными тремя с половиной, обеспечивая фланги (поди попробуй, сукин сын), энергично наступать, да так энергично, чтоб не позже 12-го августа занять справа... – это просто уже с Ренненкампфом плечами стукнуться, если тот правда немцев гонит, просто уже у Ренненкампфа город отобрать. Бзык штабной, выталкивание немцев, а не охват. И цукал Жилинский, что медленно Самсонов идёт, недостаточно быстры его приказы, нерешительны действия, что перед ним – лишь незначительные заслоны противника, а убегающие главные силы он не успевает перехватить.

Вот это одно и было верно: что немца перед Самсоновым нет (до вчерашнего дня – не было). Но где он? – то главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться: где немец? Штаб армии хоть честно этого не знал, штаб фронта уверял, что знает.

И личным докладом ничего Филимонов не объяснил, потому что за час до его возвращения пришла директива штаба фронта сегодняшняя, от 11 августа: «Раньше обращал ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску корпусов вопреки данной вам директиве».

Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Орановский – волоокий, вилоусый красавец, надутый, чистенький. Он составлял, а Жилинский подписывал, они дружно вот так служили.

«Крайне не одобряю!» Крайне не одобряли стараний Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задержать. Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех целыми...

Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомобиле Командующего и, не отлагая минуты, не помывшись (лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка), обойдя началь-

ника штаба (которого не считал за подлинного военного), постучал в комнату Самсонова. Войдя по разрешительному оклику и увидя Командующего на диване без сапог, Филимонов всё же подтянулся и отмахнул честь, но коротко, не по полной форме, как в своём кругу. Вместо доклада сказал только:

– Воротился, Александр Васильич.

Сказал хмуро, устало. Постоял, подождал. Сел.

Он страдал от своего маленького роста, мешавшего возможной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался рукою за аксельбант. Он всегда старался держаться позначительней, но много проигрывал, что стрижен был под машинку, как простой солдат.

А Командующий прилёт потому, что сморился. Он прилёт потому, что сколько ни стоял в своих тяжёлых сапогах, сколько ни топтался – его войскам не было от того ни легче, ни быстрее. Вот он лежал на спине, без кителя, с руками за головой, ноги подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыкшее к генеральской представительности, на треть закрытое невысевшей бородой и усами, вообще никогда не искажалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. Сейчас большими спокойными глазами он повёл в сторону вошедшего, но не поднялся. Будто не очень и ждал, с чем Филимонов вернётся.

А он очень ждал! Но даже в голосе Филимонова, не богатом тонами, эти три слова «воротился, Александр Васильич», произнесенные с опуском, выразили ему всё.

И с пригуживанием в голове, никому кроме него не слышимым, Командующий по-прежнему глядел в высокий лепной потолок. Таким же кругло-спокойным, гладким, без борозды оставался его накатный лоб, и в своём постоянном широком раскрытии не щурились, не косили глаза, по щекам не пробегали змейки, спокойные толстые губы прикрывались спокойной зарослью, – но внутренне наступила шаткая безопорность, о которой признаться никому было недопустимо, и она страшила Командующего. Ни одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны в здоровой голове вызреть уверенные мысли, ни одно решение, уже утекшее на телеграфную ленту, – прежде сформироваться вполне. И первый раз за тридцативосьмилетнюю службу, ещё от своего гусарского полуэскадрона в турецкой кампании, Самсонов чувствовал, что он – не действитель, а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами.

Как раз Филимонов всё это в Командующем видел. Вот если б он сам был Командующим, он разговаривал бы с Жилинским не так. И корпусных командиров затынул бы не так. Да не было власти ему дано. В шее жёстко охваченный стоячим воротником, приборабанивая пальцами по аксельбанту, поглядывал он на распластанного Командующего.

Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он ездил. Убегающий противник наконец-то был достигнут или, во всяком случае, столкнулись с ним! Столкнулись ещё вчера, весть пришла сегодня, а особое удовлетворение было в том, что столкнулись именно *левым* боком *левого* из центральных корпусов – 15-го, и вели бой, повернувшись *налево*! И бой удачный! и толкнули немца дальше!

Всего часы назад победа окончательно выяснилась по донесению генерала Мартоса, аллюр три креста, в автомобиле молодой офицер с повязанной головой, – и так первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в безмолвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсонов послал ему на посрамление своё донесение о победе. В донесение он слово в слово включил и доклад Мартоса о славном эпизоде в Черниговском полку: увидя отходящие части, полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем повёл в штыки знаменную полуроту. Был вскоре убит. Вокруг знамени возник рукопашный бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик был трижды ранен, знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью черниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полотнище, георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь знамя прибито к казачьей пике.

Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги, и лёг на диван. Ещё ничто по-настоящему не облегчилось – но проявился-таки немец, и слева! – и посрамлён был штаб фронта!

Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к потолку, Самсонов лежал и не хотел подробностей из штаба фронта, а неторопливо рассказывал своё.

Однако должен был знать он и всё привезенное! И без сожаления к Командующему, не смягчая выражений, Филимонов сыпанул как из совка горячим угольем: Жилинский сказал и велел передать дословно: «Никакого отдыха вам не будет! Ваша армия и так продвигается медленней, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет, – *трусость*, а трусить я не позволю генералу Самсонову!»

И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от усов до седеющих висков, до тёмного короткого зачёса – пунцовостью. И – он спустил ноги на пол. И посмотрел на своего генерал-квартирмейстера, как раненый. Тот бранился, зло вспоминая *Живого Трупа*, как прозвали офицеры Жилинского, а Самсонов – не выругался, ему дышать не хватало, при волнении у него выступала астма.

Тем он был ранен, что в хорошие времена за такое вызывали на дуэль, – но увы, это отошло, а сейчас ни обжаловать по субординации, ни оправдаться. Кавалерист от молодых ногтей, из-под турецкой сабли, из-под японских пуль, – он только новой двойной смелостью на полях боёв мог ответить злому обидчику. Позорно было гнуться перед ним – и нельзя было не гнуться.

Раненный багряный Самсонов слышно дышал, так и не вставляя ног в чувяки.

Тут и вошёл начальник штаба Постовский. На вид крупный (но не крупней Самсонова), это был блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне. Многие годы прослуживши в штабах, в штабах, в штабах, и всё больше – для особых поручений, и восемь лет уже в генеральском чине, Постовский выше всего ценил неуклонность устава и своевременный приход и уход директив, распоряжений и донесений. Только две настоящих беды знал он по военной службе: недоставку назначенной бумаги и неверную конфронтацию влиятельному лицу.

Сейчас он, сутулясь, подошёл близко и, глядя не так на потный лоб Командующего, как на его разутые ноги, доложил почтительно:

– Александр Васильич! Прибыл полковник из Ставки, с бумагой от великого князя.

Самсонов очнулся, вник. Вот как! новая беда! – уже и в уши великому князю успели надуть? Пока тут с Жилинским – а уже и от самого великого князя?

– Что в бумаге?

– Бумага у него, я не читал. Я не знал, по какому разряду его встречать.

– Взяли бы да прочли.

Командующий мрачно посмотрел на Филимонова.

Да, видел Филимонов, что кулебяка откладывается надолго, упустил он перехватить прежде захода к Командующему.

Кликнуто было за сапогами и кителем.

11

Воротынцев у Самсонова. – Проблемы Второй армии. – Права на корпус Артамонова. – Воротынцев туда поедет. – Незашифрованные искровки. – Ужин.

Самсонов не ждал добра и толка от этого полковника из Ставки: ещё один какой-нибудь штабной *момент*, посланный внушать ему, куда правильно наступать. Самсонов заранее знал, что приезжий ему не понравится, потому что хороший офицер служит в части, а не снуёт из штаба в штаб.

Но когда в кабинет Командующего, куда они все перешли, прибывший вступил, испрося разрешения не подобострастно и не нагло, перешёл несколько шагов по пустой середине комнаты, выдерживая уставные движения, но без внимания и любования, – определил Самсонов против намерения, что в этом офицере, лет под сорок, ничего неприятного нет. И из-за большого стола, куда сел для солидности, Командующий приподнялся.

– Генерального штаба полковник Воротынцев! Из штаба Верховного. Письмо для вашего высокопревосходительства.

Не рисуясь и не затруднённо, Воротынцев вытянул бумагу из планшетки и протянул желающему взять.

Постовский опасливо взял.

– О чём грамота? – спросил Самсонов.

Всё менее напряжённо держась, всё проще глядя в глаза Командующему своими тоже крупными, тоже ясными глазами, Воротынцев сказал:

– Великий князь обеспокоен скудостью сведений, которые он имеет о движении вашей армии.

И с этим Верховный Главнокомандующий прислал офицера в штаб армии, обойдя штаб фронта? Новичку это могло показаться лестно. Самсонов же ответил тяжёлыми губами:

– Я думал, что достоин большего доверия великого князя.

– Уверяю вас! – ускорил приезжий полковник. – Доверие великого князя нисколько не поколеблено. Но Ставка не может так мало, *так мало* знать о ходе военных действий. Одновременно со мной и к генералу Ренненкампуфю тоже послан, полковник Коцебу. Штаб Первой армии даже о гумбиненском сражении доложил лишь... когда весь бой был далеко позади.

Чего-то не договорил. Но так ясно, так неподозрительно приехавший смотрел, будто и здесь всё, чего он ожидал, была укрываемая, почти одержанная победа.

Победа и была, Самсонов как раз мог её выставить. Но это нескромно, да и не за победою приехал посланец Верховного. Он приехал с налёту поправлять, учить, попрекать. Невозможно было в пятнадцать минут передать ему всю сложность, сгустившуюся вокруг каждого корпуса, вокруг всей армии и в голове Командующего. Безполезно было и разговор начинать. Полезнее было идти ужинать, как и предложил Филимонов, ревниво к полковнику.

Всё же спросил Самсонов утомлённо, вежливо:

– А что именно вас интересует?

Но быстрый, ёмкий взгляд был у приезжего. Он успел уже и комнату оглядеть, где так всё хорошо обставлено и обряжено, будто штабу Второй армии стоять в этом доме всю войну; и двух генералов, кто должны были олицетворять собранный разум армии, – начальника штаба и генерал-квартирмейстера (зависелась чердачная традиция называть мозговую часть квартирмейстерской – уж до чего, значит, в забросе); и снова – на Самсонова, сколько нельзя не

смотреть на собеседника; и уже покашивался на глухую стену, всю завешанную склеенными трёхвёрстками Восточной Пруссии, к ней его тянуло. По карте туда и сюда переходили глаза приезжего полковника, да не с любознательностью постороннего, а с тяжёлой заботой самого Самсонова.

И вдруг через всю тоску тревожного упускания чего-то самого главного – просветило Командующему, что это послал ему Бог того самого человека поговорить, которого в штабе не было.

И Самсонов сделал шаг в сторону карты.

И Воротынцев сделал два лёгких.

Офицерский Георгий и значок Академии генштаба отмечали его грудь, другого не носил по-походному. Воротынцев, Воротынцев?.. хотел вспомнить эту фамилию Самсонов, генштабистов не так уж много в России, но младшие выпуски он плохо знал.

Затучный, с чуть выдающимся животом, Самсонов подошёл к карте ближе. На пустом пространстве комнаты можно было оценить, что его фигура не потеряется и перед дивизией. Была в ней покойная отлитость. И голос приятный и сильный.

Воротынцев, приплотнённый, но стянутый весь и лёгкий, шагнул туда же.

И вот они стояли перед самой картой, далеко впереди Постовского и Филимонова, спинами к ним. На уровне их животов воткнут был в Остроленку крупный, праздничный, ни разу не занутый, не смятый флажок штаба Второй. Выше плеч, на уровне глаз – пять корпусных трёхцветных флажков: четыре своих и один, левый, резерва Верховного. А ещё выше – руки надо было поднимать, чтобы переставлять булавки, вился по булавкам красный шёлковый шнурок, который будто бы показывал положение фронта сегодня.

Выше же его – чёрных флажков германских не было. Безмолвие было там. Среди зелёных площадей леса глубоко синели многие озёра, на такой карте ощутимо водополные. А противника – не было.

Ладонью вытянутой руки Самсонов опёрся вперёд о стену. Он любил крупные карты. Он говорил, что на картах, где труднее рисовать стрелки, чаще вспоминаешь, как трудно солдату эти стрелки проходить.

Он спешил ко главному: сразу проверить, противодействие или сочувствие по своему раздору с Жилинским встретит в приехавшем. Только в поглощающем этом разногласии можно было узнать, говорит ли Командующий с другом, как предвещали глаза.

И он стал с надеждой толковать полковнику, ещё, ещё проверяя его глазами, почему надо наступать на северо-запад, и как Жилинский сбивает его на северо-восток, оттого получается в среднем – север и веер. Он подробно это объяснял, как бы донося самому великому князю, – да завтра-послезавтра Воротынцев и доложит.

Самсонов говорил медленно и переходил к следующей мысли не раньше, чем обстоятельно излагал предыдущую. И, как все генералы, не любил, чтоб его прерывали.

Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражения на его вертикальном чистом лице, подведенном укороченной тёмно-русой бородкой. Только быстрые светлые глаза не достаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с его пальцем – на карту.

Сзади ближе подошёл и почтительно стоял Постовский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобрительно скрипел креслом.

Сказал Самсонов, что по разведывательной сводке Северо-Западного фронта противник, по словам жителей, перед Первой армией бежит...

Полковник как бы чуть дрогнул головой. Как бы смущённое, виноватое появилось на его лице. И – не прямо Самсонову, а всё шурясь туда, в немое пространство карты, он тихо сказал, как надохнул:

– Ваше высокопревосходительство... Не будем слишком в этом уверены. А что говорит – ваша армейская разведка?

Так и кольнуло Самсонова в сердце. Ох и ждал же он тут недоброго, так и есть!

– Так у нас – что ж?.. – с неохотой ответил он, как пожаловался. – У нас 13-й корпус Ключева даже не имеет казачьего полка до сих пор. А кавалерийские дивизии – по своим заданиям, на флангах. Так что разведку и вести нечем.

И, чтобы вернее перехватить противника, нельзя наступать центральными 13-м и 15-м корпусами правее, чем на север, чем вот на Алленштейн. И до Балтийского моря здесь уже не так далеко, уже пройдено больше.

И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воротынцев спросил:

– А – сколько пройдено? От мест развёртывания?

– Да... кто сто пятьдесят, кто сто восемьдесят...

– И ещё – качания?

– Качания, потому что меня штаб фронта задёргал.

– А вот тут, до немецкой границы, – Воротынцев водил внизу по карте, – всё тоже – пешком?..

Дерзкое это допрашивание полного генерала не смел бы он производить, но его глаза остановились на Самсонове не с дерзостью, а признанием совиновника. И Самсонову только согласиться осталось:

– Пешком. Да тут и железных дорог нет...

– Десять дней, – считал Воротынцев. – А – днёвок?

Лёгкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что всё понимает.

– Ни одной! Жилинский не даёт. Вот прошу. О главном прошу!.. Пётр Иваныч, принесите наши донесения!

Постовский, приклоня голову, засеменял, ушёл. И будто спо-хвяться, что не найдёт без него Постовский бумаг, вскочил и твёрдыми, недовольными шагами ушёл Филимонов.

– Остановиться передохнуть мне больше всего сейчас надо! – объяснял Командующий. (Это счастье, что в Ставке понимают, ведь обычно только погоняют.) – Но с другой стороны... и противника упускать нельзя, правда. Фронт погоняет нас, чтобы немцы не ушли за Вислу. Остановимся – выпустим. Наши орлы...

«За Вислу» – не приняло Воротынцева. Не принял, не отозвался.

План-то кампании известен полковнику?

Известен, известен... (Кивнул Воротынцев, но не очень радостно.) Охватить немцев с обоих флангов, не дать отступить ни к Висле, ни к Кёнигсбергу. План был известен обоим, но нынче все вопросы стояли как новые, не проверенные.

– У меня, – усмехнулся Самсонов, – было и свой план появился, да поздно.

– А – какой? – насторожился полковник.

Нравился, понравился он генералу, а в таких случаях Самсонов сразу бывал откровенен.

– Да вот, если угодно. – Не хватало карты. Перешёл генерал налево, обе ручищи положил на низ стены и поволок их по крашеной плоскости вверх: – Пустить бы наши обе армии рядом, по двум берегам Вислы. Тогда мы локоть к локтю. А у немца вся густота прусских дорог пропадёт. И вообще ему живо из Пруссии убираться.

Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.

– Хорошо! Смело! – Но напрягся, соображая: – А никогда б не разрешили: Вильна и Рига без защиты.

– Не разрешили бы, – вздохнул Самсонов.

– И ещё, – теперь уж полковник не мог отстать, – самим загнаться в глубь польского мешка? а там и прихлопнут? И тыл открыт? Это – оч-чень решительно надо действовать!

– Я и не подавал, – махнул Самсонов. – Я только о *направлении* подал. На имя Верховного, 29 июля. Но – не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?

– Узнаю! Непременно.

Разговаривалось всё легче. Да! ведь ещё не знал приезжий главного: противник всё-таки обнаружен! Вчера. И – где? *Слева!* Вот – Орлау, вот здесь! и – силою около двух дивизий. Наш Мартос (Самсонов поправил на карте флажок 15-го корпуса, и без того сидящий плотно) не растерялся, из походного положения развернулся – и дал бой. Горячий бой, у немцев были заранее укрепленные позиции, всё поле сражения в трупах, наших – тысячи две с половиной. Но – победа! Нами взяты тяжёлые пушки и гаубицы. И сегодня утром немцы ушли.

– Так поздравляю! – не вполне обрадовался полковник. – Это – то, что нужно! И нашли противника! А – какой корпус?

– Шольца.

– Шольца? – И тут же в щёлочку: – Преследовали?

– Да где, – вздохнул Самсонов. – Сами еле бредут.

Вот тут уместно пришлось и рассказать историю с полковым черниговским знаменем, георгиевским за 1812 год и за Севастополь. Полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем... Вокруг древка – смертельный бой... Георгиевский знак выламывали затвором, лёжа... Теперь прибито к казачьей пике.

Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, волновался: он ощущал честность и простоту этого боевого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько раз кивнул, как будто знал, давно знал этот случай, а теперь только сочувствует. И:

– Та-ак, – опять рассматривал карту. – Значит, слева. Значит, нашли противника, никуда он не бежит?

– Я ж и говорю, – гудел Самсонов, – если противник обнаружен слева, если он уходит налево, и это ясно ребёнку, – зачем велят справа корпусом Благовещенского охранять до озёр, завтра брать Бишофсбург? Эвон где! Чтобы только Жилинского успокоить – откололи корпус и гоним направо, гоним отдельно... Что это будет?.. Там – на обезпечение, здесь – на обезпечение, а наступать?

– Нашли налево – и наступайте налево! – решительно советовал Воротынцев. – Но если и две дивизии только заслон, – прощупать бы его?

– Да *чем* наступать? Два с половиной корпуса?

– С половиной?

– Ну, потому что: Клюев да Мартос, а 23-й раздёргали, где-то и Кондратович ездит, свои части собирает.

Воротынцев тем временем присел на пружинных ногах, растворил два пальца жёстким циркулем по масштабу карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от живота к глазам, от Остроленки к корпусам. Он как бы для себя это, между делом, не показательно, не в науку откладывал, – но Самсонов запнулся, смолк, и глазами считал за полковником.

И покраснел.

Шесть полных раз отложился раствор от Остроленки до 13-го корпуса.

Нет, не урок! Воротынцев не с торжеством, не с превосходством, а с горечью вскинул на Командующего глаза – он не упрекал! он хотел понять: *почему?* Почему не вдогонку за корпусами?

– Тут... с Белостоком связь хорошая, – сказал Самсонов. – ...Ведь спор всё время идёт. Надо разобраться... – сказал Самсонов. – ...Отсюда интендантства, обозы легче подогнать... – сказал Самсонов.

Но краска сильнее заливала его щёки и лоб, он чувствовал. То, что не поправу, а поподлому бросил ему Жилинский – «труса», то имел истое право подумать сейчас полковник от Верховного.

Как это случилось? – Командующий даже не понимал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных переходов он не отложил раньше, своими пальцами сам? Ведь это сразу видно!.. Как

Бог свят, он не виноват! Он нисколько не трусил идти с корпусами. Но его затуркали, закружили, события напирали быстрее, чем переваривал котёл головы, весь этот вздор держал его дневными и ночными когтями...

А корпуса шли, шли.

И ушли.

Не признавая ответа, взгляд Воротынцева всё так же горел на Командующем.

Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Воротынцев, была усами и бородой – государева, под Государя, и так же почти скрыты как будто спокойные, но далеко не уверенные губы. А выше всё шло крупней – и нос, и глаза, и лоб особенно. И проседь. И как будто в вечном покое застыло всё это. Но тлелся под неподвижностью безпокой.

И прорвалось, вспомнил Командующий:

– Да! сам на себя наговариваю... Приказ фронта: место штаба армии менять пореже и только по разрешению! Вот и потолкуйте с ними.

– Как же вы сносите с корпусами?

Полковник всё вложил, чтоб этот вопрос был не инспекторский, а дружеский. Но Самсонов насутился.

– Да плохо. Конные связные, трёхкрестовый аллюр, еле-еле за сутки доходят. Песок глубокий, автомобиль вязнет.

Этот полковник, конечно, считает себя умнее всех и здесь, и в Ставке. Он наверняка думает: эх, пустили б его командовать! Он никогда не поверит и не представит: могут так закрутить, что этих шести переходов просто не успеешь заметить.

– А лётчики?

– Да все неисправны, чинятся. А то без бензина. А немецкие всё время летают.

– А телеграф?

– Только частью, – чмокнул Самсонов сожалительно. – Рвутся провода. И не хватает. Честно говоря: Найденбург взяли 9-го, я узнал 10-го. Под Орлау начали бой вчера, я узнал сегодня. Тут о своих не знаешь, не то что о немцах.

Постовский один, без Филимонова, внёс донесения в двух папках.

Каждый день приходили вчерашние письменные донесения о том, что делали корпуса в основном позавчера, и каждый день писались к вечеру приказы на завтра, которые корпусам никак нельзя было выполнить раньше чем послезавтра.

– Вот! – схватился Самсонов и искал в бумагах сам. – Вы говорите – днёвок...

– А искровки? – добивался всё-таки Воротынцев.

– Искровые телеграммы мы наладили, да, – с удовольствием заявил Постовский. – Правда, только со вчерашнего дня, но уже передаём.

Хоть это.

– Например, от 13-го корпуса пришла искровая телеграмма, – старался подслужиться Постовский. – Авангард продвинулся уже за озеро Омулёв, а противника всё нет.

А у них шнурок фронта проходил южнее Омулёва. Не доглядели.

– Вот! – нашёл Самсонов. – Я именно хотел третьего дня все корпуса остановить и подтянуться. И вот что мне Жилинский, телеграмма: «Верховный Главнокомандующий – понимаете, не он, а Верховный – требует, чтобы наступление корпусов Второй армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, но и общее положение...»

Палец держа, где остановился, сам смотрел на Воротынцева.

Ну, как тебе, голубчик, командуется? Что бы ты предложил умней? Осёкся?

Да, осёкся. Пожевал губами Воротынцев. Перевёл глаза на сапоги. Потом опять на карту вверх. Есть такие обороты и слова, которые, где б тебя ни застигли, надо покорно переносить,

как ливень. *Общее положение.* Это не твоё разумение, не моё, не полководца, не Жилинского, даже не Верховного. Это удел суждений Государя. Это – спасти Францию. А нам – выполнять.

– «...Вашу диспозицию на 9-е августа, – дочитывал Самсонов, – признаю крайне нерешительной и требую...»

Туда, навверх, на север, в немое пространство совсем не маленькой Пруссии задрал Воротынцев голову и молчал.

И Самсонов, отдав папки, – туда же, это он не уставал.

А у Постовского были не походные ноги. И он попятился с папками, сел в кресло поодаль.

Ещё они не знали, что Воротынцев их обошёл: в ожидании приёма он не топтался в зале, а сразу проник в оперативный отдел, оттуда вызвал знакомого капитана и пошептался с ним за колонной десять минут: молодые генштабисты последних лет выучки все знакомы друг с другом и действуют как тайный орден. Почти всё, что Воротынцеву отвечали в кабинете Командующего, он уже знал от капитана, и тому только был рад и за то уже полюбил Самсонова, что тот не врал, не прикрашивал.

От дружелюбного капитана, и здесь, у карты Командующего, Воротынцев напитался этой обстановкой, этой операцией – так, будто не приехал только что, а все три недели здесь лишь и вертелся, – нет, будто всю жизнь, всю военную карьеру только и готовился к этой одной операции!

Всё, что хоть раз за этот час было произнесено и названо, – Воротынцев своим воображаемым карандашом уже положил прямоугольниками, треугольниками, дужками и стрелками на эту почти пустую карту и легко охватывал нанесенное. Уже ничьи вины, ни заслуги этих генералов не имели для него значения, и отступало даже важное – всеобщая измождённость, сухомытк, жара, безднёвщина, безконница, дурная связь, отсталость штаба – перед сверхважным: увидеть невидимых немцев, разгадать их план, своим ребром почувствовать укол их штыка задолго прежде, чем он высунется, их первый пушечный выстрел услышать ранее, чем похлопает в высоком воздухе снаряд. Как красотка чутким телом даже со спины, не оглядываясь, ощущает мужские взгляды, – так телом чувствовал Воротынцев эти жадные волны врага, текущие на Вторую армию с немой части карты. Он был уже весь – во плоти Второй армии, его покинутый стул в Ставке – ничто, бумажка, подписанная великим князем, – ноль, она не давала ему права переставить здесь ни одного солдата, а трепет его был – угадать, а рок его был – принять решение, а такт его был – представить Командующему, что это – его, Самсонова, решение.

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были роковые часы, и их десятивёрстный маятник то в русскую, то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал.

И вдруг подняв руку, как древнеримское приветствие, только левую, в откос перед собою, слева к карте, Воротынцев лопастью изогнул кисть, вниз медленно повёл её по нижней внешней дуге с выворотом и остро подал ладонью с запада – к Сольдау и Найденбургу. И держа так ладонь при карте, кинжалом на Сольдау, повернул голову к Командующему:

– Ваше высокопревосходительство! А *вот так* вы не ожидаете?

Это не была чистая догадка его, в Ставке он узнал агентурные сведения о немецких военных играх прошлого года (успел ли узнать их Самсонов?): избрали немцы как наилучший план: отрезать наревскую русскую армию с Запада. Вряд ли их план изменился, а сейчас многое в неясной обстановке помогало туда ж.

Большеголовый, большелобый генерал внимательно следил, видел весь объёмный жест, видел широкий кинжал ладони. Его глаза моргнули:

– Так ведь если был бы хоть мой 1-й корпус! Артамоновский корпус в Сольдау – если стал бы мой из резерва Верховного! Не дают!

– Как не дают? Он теперь... ваш.

– Да не дают! Прошу – отказывают! Не разрешено его выдвигать дальше Сольдау.

– Да нет! – освобождённой рукою-кинжалом уже у своей груди был Воротынцев. – Уверю вас! Я сам присутствовал, когда великий князь подписал распоряжение: вам «разрешается привлекать 1-й корпус к участию в боях на фронте Второй армии».

– Привлекать...?

– ...к участию в боях.

– А дальше Сольдау выдвигать?

– Ну, если «на фронте Второй армии» – так вы его можете хоть и направо перекинуть? Я так понимаю.

– А не отберут? Как остальные? Как гвардейский? – сперва «не выдвигать дальше Варшавы», потом забрали?

– Да наоборот же: привлекать к боям!

Самсонов раздался, раскрылся, кажется вырос плечами, колыхнулся:

– И – когда это подписано?

– Когда?.. Позвольте... По-за-по-за-вчера. Восьмого вечером.

– Так уже трое суток?! – заревел Самсонов. – Пётр Иваныч!

Постовский встал.

– Вы слышите? Есть такое распоряжение о 1-м корпусе?

– Никак нет, Александр Васильич. Отказано.

– Так Северо-Западный от меня скрывает? – загромыхал Самсонов. И переступая уже рамки службы: – Да шут его раздери! Зачем вообще нам навязали этот Северо-Западный? Над двумя армиями?

Воротынцев незатруднённо поднял брови:

– А над двумя дивизиями – зачем корпус? А в дивизии – зачем две бригады? В дивизии – не слишком много генералов?

Верно, далеко это шло. Густовато начальников и штабов.

Да, сам Бог послал этого полковника. Не только всё понимает, не только расположенный и быстрый, – но вынул из кармана и подарил армейский корпус!

Самсонов шагнул к нему крупно:

– Ну, голубчик!.. – Положил ему обе руки медвежьих на плечи: – Разрешите, я вас...

И поцеловал волосато.

Стояли так, Самсонов выше, ещё не отняв рук.

– Только я должен проверить...

– Да проверяйте! Ссылайтесь на меня. На распоряжение от 8 августа. – Мягенько-мягенько Воротынцев вывернулся из-под медвежьих рук, и снова к карте.

– Всё-таки как понять: «привлекать к боям»? – жался Постовский. – Это надо запросить.

– Да не надо запрашивать! Понимайте, как вам выгодно: давайте полный приказ, вот и всё! Ну, не пишите *выдвигаться* севернее Сольдау, пишите *находиться* севернее Сольдау, так и обойдём.

– Но почему он может держать трое суток, злыдень? – гневался Командующий.

– Ну, почему? – лишняя отдельная часть, без неё падает значение фронтового командования. – Полковник это говорил по поверхности, а думал уже вперёд, и вот что: – Вот что. Ничего не выясняйте – а пишите приказ Артамонову, я ему сам отвезу.

Ещё изумил!

– Как отвезёте? Вы разве – не в Ставку?

– Со мной – поручик, я с донесением в Ставку пошлю его. А сам...

Предусмотрел Воротынцев и этот случай. Да никто, начиная с Верховного, не понимал, что всю посылку двух полковников изобрёл именно Воротынцев и втолковал другим. Потому что жутко было томиться высшим писарем высшего штаба, ничего не имея, кроме шелеста карт и донесений, опоздавших на сорок восемь часов, да в окошко смотреть, как кавалер-

гард Менгден, ещё самый деятельный из шести бездельников-адъютантов Верховного, свистит, не осаждаёт голубей у своей голубятни, поставленной под окнами великокняжеского поезда; остальные адъютанты не делают и того. Задохнуться можно было писарем в Ставке, когда в Пруссии начался самый опасный и самый крылатый манёвр: при всех свободных флангах сходящихся армий. Когда на северном фланге Ренненкампа уже допущены помрачительные и, может быть, неисправимые ошибки, и лучше б не было той гумбиненской победы (но не смел Воротынцев передавать Самсонову плохое о Первой армии, чтоб не подорвать Командующего дух). Да пока и слишком мало узнал Воротынцев в штабе Второй, чтобы с этим возвращаться к Верховному. Остриё тревоги кололо с самого западного фланга – туда и надо было ехать.

– ...Рассматривайте меня, ваше высокопревосходительство, как лишнего штабного работника, оперативно приданного вам.

Самсонов смотрел на него с самым тёплым одобрением.

И Воротынцев, как будто почтительно:

– Почему мне нужно ехать именно к 1-му корпусу – потому что именно там может что-то начать выясняться.

Там! Верно, там! – подтверждал и Самсонов:

– И правда, голубчик, поезжайте. Помогите мне 1-й корпус забрать.

– Из вашего штаба для связи никого нет в 1-м?

– Полковник Крымов, мой генерал для поручений.

– Ах, там Крымов?!... – охладился Воротынцев. – Он, кажется, и в Туркестане был у вас?..

– Всего полгода. Но я его полюбил – и советчик, и солдат.

(Один Крымов и был ему в штабе свой, присердечный.)

Колебался Воротынцев.

– Ну хорошо. Пишите туда приказ! Только что ж писать, когда... Аэроплана не можете дать?

– Чинятся, – извинился Постовский.

– Из двух автомобилей как раз один у Крымова, – развёл руками Самсонов.

– А как ворона летает, как ворона летает... – мерил Воротынцев, – тут девяносто вёрст. Без дорог. По дорогам – сто двадцать.

– И очень запущенная местность, – рад был предостеречь генерал Постовский. – Её так и держали, заслоном от немцев. Топкий песок, заболоченные речки, плохие мосты, мало питьевой воды.

И там-то прошагали их корпуса!..

– Вам лучше поездом через Варшаву, – благоразумно советовал начальник штаба. – На Млаву там сообщение однокорейное, но к утру в среду будете, и отдохнувшим.

– Нет, – оценивал Воротынцев, – нет. Дайте мне хорошего коня, двух коней с солдатом, – и я поеду гоном, сам.

– Но какой же смысл? – удивлялся Постовский. – То ж на то и будет, только без сна.

– Нет, – уверенно качал головой Воротынцев. – Из поезда я выйду со вздором, а так всё сам посмотрю.

Стали собираться. Писали Артамонову распоряжение. (Что писать – нельзя было даже придумать: как можно было *привлечь к боям*, но не командовать полностью?) Писал и сам Воротынцев в Ставку, и объяснял своему поручику. К склеенной карте Воротынцева подклеивали ещё два листа. Это было уже при Филимонове, в оперативном отделе. Воротынцев попросил дать ему шифр искровых телеграмм для 1-го корпуса. Филимонов насупился: какой шифр? мы не шифруем. Воротынцев пошёл к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него, да ведь так и ужинать не даст:

– Ну не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде чёрт ногу сломит, батенька. У нас искровые что – гимназии кончали? Они ещё не тренированные, перепутают, перевернут, больше будет неразберихи.

– Нет! – не понимал Воротынцев. – И расположение соседних корпусов и задачи – всё посылаете открытым текстом?

– Да не знают же немцы точного времени наших передач! – сердился Постовский. (Уж в *эти* штабные подробности мог бы приезжий нос не совать!) – Что ж они, круглые сутки ловят, что ли? Да может, в их сторону искра и не идёт, не пойдёт... Смелому Бог помогает.

И видя изумлённое охолодение Воротынцева:

– Да мы искровки редко. Мы телеграфом больше. Но когда телеграф перерван – что ж, лучше совсем не передавать?

Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, конечно, надо код разработать и ввести, прямая задача начальника службы связи, просто ещё не успели. Да ведь искровые телеграммы только вчера и передавать начали, не такая беда.

Посматривал Воротынцев на приветливого взрачного Командующего, на энергично-враждебного Филимонова, на затёртого, невыразительного Постовского, всех троих, сроднённых, однако, большим аппетитом. Понимал ли Командующий, как его обманули таким штабом? Настоящий штаб обязан из пучины предположений выведать и поднять грядущее, по которой шагает решение. Все сомнительные донесения он шлёт офицеров проверить на месте. Он выпукло отбирает сведения, он заботится, чтобы важные не утонули в малозначащих. Штаб не заменяет волю Командующего, но помогает ей проявиться. А этот штаб – мешал.

Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего солдата, но он брал только сопровождающего с возвратом (про себя понимая, что *лучшего* солдата не в штабе армии надо искать, скорей возьмёт он в полку). Он не мог войти в их обстоятельный обрядный ужин с устойчивой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь крепкого чая. Он просидел, сколько было прилично, не чувствуя той кулебяки, отсутствуя.

– Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра! – радушно настаивал Самсонов. – Что уж вы, не присевши, не отдохнувши – и дальше? Этак не навоюешь! Оставайтесь, посидим, потолкуем.

Ему правда очень хотелось придержать Воротынцева; обидно казалось, что так торопится. Он встал проводить полковника и обещал завтра же до обеда переезжать в Найденбург.

Не совсем было понятно, как же они уговорились и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможностей было недосказано между ними, но по суеверию и не надо было досказывать. Поймётся там само.

Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым дружно возражали Командующему, что и думать нельзя перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, а там голыми руками корпусам не поможешь.

Налётный, самоуверенный полковник из Ставки был, промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и перетолковывать их корпусам.

Тут притёк от Жилинского новый приказ: во изменение предыдущего разрешается Командующему Второй армии принять для корпусов общее направление на север, но для прикрытия правого фланга непременно оставить на прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для обеспечения левого фланга не продвигать 1-й. (С 1-м опять непонятно: как же его считать? Но всё же намёк, что принадлежит.)

Ещё сегодня утром Жилинский запрещал растягивать фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех случаях он будет прав...

А всё-таки: в *направлении* уступал. И слава Богу. И этого надо держаться.

Пока переработали в распоряжения корпусам – была уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, в те штабы послали распоряжения – искровыми. Незашифрованными.

Не должны были немцы перехватить – не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши.

12

Воротынцев на выезде из Остроленки. – Нет совершенных штабов! – Сражение Первой армии под Каушеном и Гумбиненом. – Трения со Ставкой. – Ренненкампф не преследует противника. – Куда делись немцы? – Обгон обоза. – Как Россия приняла войну. – Лестница армейских возвышений. – В ночной дороге. – История армейской реформы. «Младотурки». – В соревновании с германскими генштабистами. – План этой кампании. – О генералах. – Ночной путь.

Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и, в сопровождение, унтера на кобылке. Выезд из города надо всегда расспросить точно, но унтер знал. Тяготясь по тихой тёплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротынцев приторочил их к седлу и ехал налегке.

Годами нося в груди как мечту недостижимое стратегическое совершенство (не тебе, но кому-то, один раз в столетие, удаётся его осуществить!), – подходишь к каждому генералу, входишь в каждый штаб с дрожью надежды, что это – *он!* что это – *здесь!* И каждый раз – разочарование. И почти всегда с отчаянием видишь, что нет единого ума и воли – сковать и направить к единой победе заблудившиеся тысячи.

Как будто усвоенный-переусвоенный закон, а всякий раз удручался им Воротынцев: чем выше штаб, чем выше по армейской лестнице, тем отстранённой от касания к событиям и тем резче, непременно жди там – самолюбов, чинолюбов, окостенелых, любителей жить как живётся, только бы есть-пить досыта и подыматься в чинах. Не одиночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищенную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдают звёзды и звёздочки.

Так – было и в Ставке. И такое же донеслось в последние дни из Первой армии, чем не хотел Воротынцев расстроить Самсонова. Армия Ренненкампфа была всего три корпуса, но к ней придано – пять с половиной кавалерийских дивизий, вся гвардейская кавалерия, цвет петербургской аристократии. И командовавший ею Хан Нахичеванский получил приказ: идти по немецким тылам и рвать коммуникации, тем лишая противника передвижений по Пруссии. Но едва он двинулся 6 августа – сбоку показалась всего одна немецкая второстепенная ландверная бригада, 5 батальонов. И вместо того, чтобы мимо неё, заслонясь, спешить по глубоким немецким тылам, – Хан Нахичеванский под Каушеном ввязался в бой, да какой – сбил на 6-вёрстном фронте четыре кавалерийских дивизии, и не охватывал бригады с флангов на конях, но спёшил кавалерию и погнал её в лоб на пушки – и понёс ужасающие потери, одних офицеров больше сорока, – сам же просидел бой в удалённом штабе, а к вечеру и всю конницу отвёл далеко назад. И тем – пригласил немцев двигаться на пехоту Ренненкампфа. И так на следующий день, 7 августа, произошло Гумбиненское сражение. Отдать честь Ренненкампфу – с шестью пехотными дивизиями против восьми немецких он одержал победу! – хотя неполную, должно было дорешиться на следующий день. Но и победа эта не спасала, ибо по стратегическому русскому плану самогó решительного сражения Ренненкампф не должен был по началу давать – но лишь служить для восточно-прусской армии притягивающим магнитом, наступать же, им в спину, должен был Самсонов. А на утро после Гумбинена – немцы исчезли! они скрылись в глуби Пруссии. А Ренненкампф не кинулся преследовать их – отчасти из-за больших потерь в пехоте (но сколько же есть кавалерии!), отчасти – оттого что не стало снарядов и не подвозили их, тут и сказалась неготовность тылов, наша самоубийственная жертвенная спешка для Франции; отчасти и потому, что не поддавался дёрганью Жилинского, а предпочитал не

торопиться. В оправдание он утверждал, что немцы никуда не ушли, а укрепились близко от него. И двое суток после Гумбинена – Ренненкампф не двинулся, разве лишь вчера, – но уезжая сегодня утром из Ставки, Воротынцев ещё не знал, заметно ли тот двинулся.

Эти дни между Ставкой и штабом Первой армии натянулись другие напряжения: после Каушенского боя Ренненкампф в гневе отрёшил Хана Нахичеванского от конного корпуса, а тот – любимец великого князя и всего гвардейского Петербурга, – и Николай Николаевич *просил* Ренненкампфа дать Хану реабилитироваться. А из Петербурга уже неслись первые проклятья за гибель стольких гвардейских офицеров – и все на Ренненкампфа. А Ренненкампф вдобавок ещё отрёшил от бригады и младшего брата Орановского – и старший Орановский в штабе Северо-Западного негодовал.

И за этими мельтешениями скрылась главная загадка: куда же делись немцы в Пруссии? В ком не течёт суворовская нетерпеливая кровь – того не раздрает до небес эта загадка: *куда делись?* что случилось с ними?

В этой обстановке Воротынцев и устроил, чтобы послали Коцебу в Первую армию, а его – во Вторую. Там, в Первой, оставалось много неясного, но главная загадка уже залегала вокруг Второй.

А что в штабе Второй? Никто тут не охватывал мгновений сегодняшней войны, её отзывчивой обоюдной связи. Вторая армия шла на манёвр, достойный только Суворова, – стремительный марш, отрезать Восточную Пруссию, начать войну ошеломительно для Германии! – и начинала на *кое-какстве!* Разведка!.. – ждут сводки из штаба фронта, а те – «по словам местных жителей». Да Самсонов и никогда в разведке не был силён, в двадцати верстах не находил конницу японской пехоты, об этом уже и немцы пишут, уже есть и русский перевод в Петербурге. Они знают, кто против них стоит, – и не ждут напора. Куропаткинская школа, «терпение» в ореоле, мы – кутузовцы... Длинноухие!.. Иметь три кавалерийских дивизии – и ни одной из них перед фронтом армии, чтобы найти же исчезнувших немцев! Окружать противника – да какого! – столько же понимая в окружении, сколь медведь понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по лбу хлопает.

И под Орлау – что ж за победа? Нашли противника! удача! Но две с половиной тысячи уложили, узнали, что противник *не там*, куда идёт Вторая армия, и топают себе по-прежнему *не туда!*

Это – Жилинский, это он!.. Но не разорваться навсюду. Рапорт – поехал к великому князю. (А великий князь, кажется, пока поехал в Петербург.) Воротынцев – едет вперёд.

Унтер не соврал, вывел точно к каменному мосту через Нарев. (Только мог бы в седле сидеть посвободней. Ста вёрст ему не проехать, придётся вернуть.)

С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, прозначенный по Остроленке так, чтобы громы обозов от железнодорожной станции на Янувское шоссе не беспокоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась голова длинного обоза. Все телеги пароконные были как одна. Все они были нагружены выше грядок мешками и покрыты парусиной. Обоз, видно, только что вышел с места, повозочные ещё не уселись на телеги, шли рядом (в штабном городе, пожалуй, наскочишь на начальника: зачем лошадей моришь безо времени?), иногда соединялись по двое, кто курил, кто перебранивался беззлобно, и все были настроены заметно весело. Выезд в путь безлунной, но тихой ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был даже по душе. При сытых лошадях, хоть, может, ещё и не съезженных, сытые сами, не предвидя себе опасности в ближайшие дни (ещё двое суток до границы), и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, они без нужды широко размахивали руками, а один даже исхитрился на ходу приплясывать по булыжнику, смеша товарищей.

– Не доплясал, вишь, со своей паненкой...

– Братцы, да ведь жалко-то как, – безо всякой жалобы в голосе оправдывался плясун, – с главной-то ночи и сорвали...

– Ты вот что, Ониська, – густо советовал третий ездовый. – Твоя соловая и одна потянет, так за моими и пойдёт, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельдфебеля, да ворочайся, доведи дело... А к утру нагонишь... На старость лет кормилец лишний будет...

Гоготали. Но увидя всадника на породистом жеребце, обгоняющего по мосту, смолкали тут же.

Шутки солдат всего медленней меняются в армии – медленней, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шутки Воротынцев слышал и в Японскую войну, такие, наверно, были и в Крымскую, да и в ополчении Пожарского такие же. Они веселили не содержанием, а той освобождённой лихостью, с которой вышумливались.

Омрачённому Воротынцеву развязная уверенная бодрость ездовых пришлась кстати. И, уже мост переехав, он остановился и без надобности окликнул проворного фельдфебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань передней телеге. Тот метнул на бегу глазами, в четверть-свете звёзд и речной ленты разглядел от земли на небо, что здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой готовностью отпечатал последние шаги по торной земле, и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, будто для этого всю дорогу и бежал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.